ЛОТАР-ГЮНТЕР

БУХХАЙМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР



ПОДЛОДКА

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН
О БОЕВОМ ПОХОДЕ
НЕМЕЦКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
U-96
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ

ПО КНИГЕ СНЯТ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ФИЛЬМ, НОМИНИРОВАННЫЙ НА «ОСКАР».

Лотар-Гюнтер Буххайм

Подлодка

Серия «Всемирная история (Центрполиграф)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74667081
Подлодка:
ISBN 978-5-9524-6750-7

Аннотация

В романе Лотара-Гюнтера Буххайма рассказывается о боевом походе немецкой подводной лодки во времена Второй мировой войны. Люди по воле судьбы и времени поставлены в ситуацию, когда необходимо убивать, чтобы жить, – вот основная мысль книги. Это жесткое и динамичное произведение, в котором каждый персонаж – Личность с большой буквы. Автор в мельчайших подробностях показывает боевые будни подводников, обыденность смерти на войне, реалистично воссоздает гнетущую атмосферу подлодки.

Содержание

Бар «Руаяль»	5
Выход в море	55
Болтанка номер один	163
Болтанка номер два	237
Конец ознакомительного фрагмента.	249

Лотар-Гюнтер Буххайм

Подлодка

© Перевод, ООО «Гермес Букс», 2026

© Художественное оформление, ООО «Гермес Букс», 2026

Бар «Руаяль»

От места расквартирования офицеров в отеле «Мажестик» до бара «Руаяль» вдоль самого морского берега ведет одна-единственная дорога, вытянутая кривая длиной пять километров. Луна еще не взошла. Несмотря на это, дорога проступает из мглы словно бледная лента.

Командир жмет на педаль газа, будто находится на треке ночного автодрома. Но тут же внезапно ему приходится сбросить газ и резко ударить по тормозам. Визжат шины. Притормозил, отпустил, резко затормозил. Старик проделывает это умело, останавливая тяжелую машину, даже не вильнув, перед дико жестикулирующим парнем. Синяя форма. Фуражка фельдфебеля. Какой шеврон у него на рукаве? Боцман!

Жестикулируя, он стоит рядом с конусом света от наших фар. Лица не видать. Командир собирается уже потихоньку тронуться, как боцман хлопает ладонями по нашему капоту и ревет:

О, резвая козочка гну,
Я сердце твое разобью!

Пауза, затем новая барабанная дробь по капоту.

Я сердце твое разобью!

Командир морщится. Еще одна секунда – и он взорвется. Но нет, он включает заднюю скорость. Машина делает рывок, так что я чуть не въезжаю в лобовое стекло.

Первая скорость, слаломный вираж. Вторая скорость.

– Это наш номер первый! – поясняет мне командир. – Нагрузился по ватерлинию.

Стармех, сидящий позади, невнятно чертыхается.

Едва командир как следует разогнался, как ему вновь приходится жать на тормоза. Правда, на сей раз он может не спешить, так как еще издали в свете фар мы замечаем раскачивающуюся взад-вперед шеренгу. По меньшей мере десять человек поперек дороги. И все это матросы в кулани[1].

Когда мы приблизились, я вижу, что поверх отстегнутых клапанов комбинезонов у всех белеют свисающие пенисы.

Старик сигналит. Шеренга расступается, и мы проезжаем сквозь писающий строй.

– Они называют это поливальной машиной. Все – личный состав с нашей лодки.

Сзади что-то бубнит стармех.

– Остальные в борделе, – дополняет командир. – Вот где сегодня работы невпроворот. Ведь Меркель тоже завтра уходит в боевой поход.

На целый километр впереди не видно ни души. Затем в

[1] Кулани – форменный китель, названный по имени портного из Киля.

свете фар возникает двойной патруль полевой жандармерии.

– Будем надеяться, завтра на рассвете все объявятся, – раздается с заднего сиденья, – а то как напьются, так обязательно с этими псами сцепятся.

– Собственного командира не узнают, – про себя бормочет Старик. – Наглецы!

Теперь он едет медленнее.

– Да и я сегодня не в самом бодром виде, – говорит, полуобернувшись, – многовато развлечений для одного дня. Сначала с утра похороны на базе – боцмана, того, что убило при воздушном налете на Шатонёф. И во время похорон опять налет со всем тарарамом. Ну, это совсем уж неприлично: прямо во время похорон! Зенитчики сбили три бомбера.

– А что же еще? – спрашиваю я Старика.

– Сегодня пока больше ничего. Но вот вчерашний расстрел угнетает меня. Конечно, дело ясное – дезертирство. Дизелист. Девятнадцати лет. Не будем об этом. А потом ближе к вечеру забили свинью в «Мажестик». Задумывалось как праздник. Супчик с потрошками – или как это там называется – вряд ли кому пришелся по вкусу.

Старик останавливается у заведения, на каменной ограде которого метровыми буквами обозначено «БАР «РУАЯЛЬ»: бетонная постройка в виде корабля между прибрежным шоссе и переулком, под острым углом выходящим из соснового леса. И все это, будто огромная судовая надстройка, наискось прорезает ряд окон.

В баре «Руаяль» к нам подходит Моника, эльзаска, которая знает по-немецки лишь несколько исковерканных ругательств, позаимствованных у солдат. Черноволосая, темноглазая темпераментная пышка с огромной грудью.

Кроме нее, как гвоздь программы – три официантки в ажурных блузках и капелла из трех человек: невыразительные, запуганные существа, за исключением ударника-мулата, которого все это забавляет.

Организация Тодта[2] реквизировала заведение и разукрасила его. Теперь это какая-то мешанина архитектуры конца века и Дома германских искусств. Настенная роспись над головами оркестрантов изображает пять чувств, или граций. Пять граций – три грации? Командующий флотилией отобрал заведение у ОТ, обосновав это так: «Подводникам нужна разрядка!» – «Офицеры-подводники не могут торчать в очередях в борделе!» – «Нашим людям не хватает праздничной атмосферы!»

Праздничную атмосферу создают вытертые ковры, ободранные кожаные кресла, деревянные панели белого лака с искусственной виноградной лозой а-ля Рюдесгейм по стенам, бра с красными абажурами и портьеры красного же бархата на окнах.

Командир сначала, усмехаясь, озирается, потом с задумчивым видом духовного пастыря оглядывает расставленные кругом столики, опустив подбородок и морща лоб. Медлен-

[2] «Тодт» – военно-строительная организация в Германии во время войны.

но отодвигает одно из кресел, тяжело опускается в него и вытягивает ноги. Кельнерша Клементина, тряся грудью, тотчас же семенит к нему, и Старик заказывает для всех пиво.

Бокалы еще не успели принести, как с треском распахивается дверь и внутрь вваливается команда из пяти моряков, судя по нашивкам, все капитан-лейтенанты, – а позади еще три обер-лейтенанта и один лейтенант. На троих каплеях белые фуражки: командиры подлодок.

На свету я смог узнать Флоссмана. Неприятный, запальчивый парень, широко скроенный и светловолосый, который недавно хвастался, что в своем последнем походе при артобстреле одиночного парохода он первым делом расстрелял на нем из пулеметов спасательные шлюпки, «чтобы избежать ненужных недоразумений»…

Двое других – Купиш и Штакман, неразлучные друзья, которые во время отпуска не вылезали из Парижа и с тех пор до краев переполнены воспоминаниями о борделях.

Старик ворчит:

– Если просидим еще часок, тут соберется весь подводный флот. Я все себя спрашиваю, отчего томми[3] не накроют эту лавочку, а заодно и нашего командующего в его замке в Керневеле, высадив своих бравых командос. Не понимаю, как до сих пор не прихлопнули этот притон – так близко от воды, да еще и настоящий бардак Порт-Луи под боком. Если они захотят, смогут переловить всех нас одной сетью. Се-

[3] Томми – прозвище английских военных.

годня, например, для этого выдалась просто замечательная ночь.

Старик не обладает ни узким породистым лицом героя-подводника из иллюстрированной книжки, ни крепкой сильной фигурой. Он выглядит вполне добропорядочно, будто капитан-каботажник, с такими же неуклюжими движениями.

Спинка его носа в середине узка, свернута влево и вдобавок затем утолщается. Светло-голубые глаза утоплены глубоко под насупленными бровями от постоянного пристального вглядывания. Обычно он так сощуривает глаза, что из-под бровей видны лишь узкие щелки. У краев на висках лучиками собираются бесчисленные морщинки. Полная нижняя губа слегка капризна, подбородок резко очерчен, на нем уже в начале второй половины дня высыпает рыжая щетина. Грубые сильные черты придают его лицу строгое выражение. Кто не знает, сколько ему лет, примет его за сорокалетнего, в то время как он на десять лет моложе. В сравнении со средним возрастом командиров подлодок в свои тридцать лет он и вправду уже человек пожилой.

Командир не любитель громких слов. В журнале боевых действий его операции выглядят как детские игры. Вытянуть из него что-нибудь можно лишь с величайшим трудом. Обычно мы перебрасываемся обрывками фраз: разговоры вскользь. При этом вещи не называются своими именами. Легкий оттенок иронии, достаточно скривить губы, и я пони-

маю, что Старик имеет в виду на самом деле. Если он хвалит главное командование подводного флота и при этом искоса бросает взгляды мимо меня, я знаю, что это должно значить.

Наша последняя ночь на берегу. За ленивой болтовней кроется пронизывающий страх: все ли пройдет нормально, выдержим ли мы?

Успокаивая, говорю себе: Старик – отличный мужик. Ничто не в состоянии выбить его из колеи. Не изверг. Не безрассудный храбрец. Надежный. Ходил еще на парусниках. Ручищи словно созданы, чтобы укрощать непокорные паруса и выбирать тяжелый такелаж. Он еще в состоянии делать это. Двести тысяч тонн – шутка ли! – целый флот кораблей. Он всегда выкручивался даже из самых скверных передряг.

Мой исландский свитер будет весьма кстати, если придется идти на север. Симоне не стоит появляться вместе со всеми в порту. Не хватало еще неприятностей. Эти болваны из СД следят за нами как ищейки. Завистливые свиньи. Но парни Дёница им не по зубам.

На самом деле никакого представления, куда мы пойдем. Возможно, Центральная Атлантика. Подлодок в походах мало. Совсем скверный месяц. Усиленная противолодочная оборона. Томми уже многому в этом деле научились. Положение на море изменилось. Теперь караваны охраняются гораздо надежнее. Прин, Шепке, Кречмер – все сгинули от конвоев. Все утонули, за исключением Кречмера. И всех уничтожили почти в одно и то же время: февраль – март.

Особенно ужасна участь Шепке. Его раздавило между кронштейном перископа и фальшбортом, когда эсминец протаранил его разбомбленную груду металлолома.

Асы! Многих уже нет. У Эндрасса окончательно сдали нервы. Но Старик пока еще в норме: совершенно невозмутимый подводник. Углубленный в себя. Не спивается. Похоже, он расслабляется по-настоящему, когда сидит вот так и размышляет.

Мне нужно выйти. В туалете слушаю двух вахтенных офицеров, которые стоят рядом со мной у желтой кафельной стенки:

– Мне нужно еще разок полакомиться.

– Смотри, только не промахнись. Ведь ты же уже в дым надрался.

Уже в дверях, бурчит второму, который все еще возится:

– Вставь горячий приветик и от меня.

Люди с подлодки Меркеля. Пьяные – иначе бы так не выделывались.

Я вернулся за столик. Наш старший механик далеко вытянутой рукой выуживает стакан. Совсем иной человек, чем Старик. Темными глазами и черной бородкой он напоминает испанца – прямо с картин Эль Греко. Нервический тип. Но знает свою лайбу от кормы до носа. Двадцать семь лет. Правая рука командира. Всегда ходит со Стариком. Понимают друг друга с полуслова.

– А куда подевался наш второй вахтенный офицер? – хо-

чет знать Старик.

– На борту. У него вахта, но он, вполне возможно, еще появится!

– Ну да, должен же кто-то нести службу, – кивает Старик. – А первый вахтенный?

– В борделе! – хохотнул стармех.

– Он – и в публичном доме? Не шутите! – говорит Старик. – Скорей всего, пишет свое завещание – ведь у него всегда все в ажуре.

О помощнике механика, который отправился за компанию и должен сменить стармеха после этой операции, он даже не спросил.

Таким образом, в офицерской кают-компании нас будет шестеро: слишком много людей за маленьким столом.

– Где же пропадает Томсен? – спрашивает стармех. – Он не может подвести нас!

Филипп Томсен, командир подлодки UF[4]и с недавних пор кавалер Рыцарского креста, во второй половине дня был на рапорте. Глубоко усевшись в кресло, облокотившись, сложив молитвенно ладони и вперив неподвижный взгляд в противоположную стену, он докладывал:

– …Нас три четверти часа забрасывали глубинными бомбами. Сразу, едва легли на грунт на глубине примерно шестидесяти метров, мы получили очередь из шести – восьми бомб, все легли довольно близко от лодки. Накрывают на-

[4] Позывные лодки.

стильно. Одна легла особенно точно над подлодкой, примерно на высоте орудия и метрах в семидесяти сбоку. Точнее сказать трудно. Остальные бомбы ложились в восьмистах – тысяче метрах. Потом, примерно через час, новая серия. Это было вечером, где-то с двадцати трех тридцати до часа. Сначала мы лежали на глубине и лишь позднее тронулись малым ходом, все время подвсплывая. Потом всплыли и оказались позади конвоя. На следующее утро один эсминец развернулся в нашем направлении. Волнение три балла. Небольшой ветер, дождевой шквал. Легкая облачность. Весьма благоприятные условия для подводной атаки. Мы ушли под воду и легли на боевой курс. Залп. Промах. Затем еще залп. Эсминец шел малым ходом. Попытались выстрелить кормовым аппаратом. И попали. А после пошли вдогонку за конвоем, пока не получили приказ повернуть. О втором конвое получили донесение от Цешке. Мы держали связь и постоянно доносили. Около восемнадцати подошли. Хорошая погода, море два-три балла. Легкая облачность.

Здесь Томсен делает паузу.

– Забавно. Все победы у нас приходились на дни, когда у кого-нибудь из команды был день рождения. В самом деле удивительно. В первый раз день рождения был у дизелиста. Во второй – у одного из радистов. Бесконвойный пароход пришелся на день рождения кока, а эсминец – на торпедиста. С ума сойдешь!

На подлодке Томсена на поднятом наполовину перископе

развевалось четыре вымпела, когда рано утром он сегодня вошел с приливом. Три белых вымпела за торговые суда и красный – за эсминец.

Хриплый голос Томсена, словно лай собаки, разнесся над покрытыми нефтяными пятнами прибрежными водами:

– Обе машины стоп!

Подлодка еще имела достаточный запас хода, чтобы бесшумно проскользнуть к пирсу. При этом над густой маслянистой жидкостью вонючих портовых вод она возвышалась будто высокая ваза с чересчур плотным букетом. Бледные краски – букет бессмертников. Головки цветков словно блеклые пятна между темных мхов. При ближайшем рассмотрении пятна оказывались бледными обескровленными лицами. Покрытые густой тенью, глубоко запавшие глаза. Белая, как мел, кожа. У некоторых глаза блестят как в лихорадке. Грязно-серые, покрытые солью кожаные комбинезоны. Свалявшиеся волосы, на которых чудом еще удерживались шапки. Томсен выглядел совсем больным: худой как жердь, щеки ввалились. Его ухмылка, долженствовавшая изображать приветливую улыбку, была будто приклеена.

– Осмелюсь доложить, лодка UF прибыла из боевого похода!

А мы во все глотки в ответ:

– UF – ура!

От складов-навесов номер один отлетело гулкое эхо, затем раскаты его вернулись еще раз, уже слабее, от верфи Пенхо.

Старик носит свой старый китель, тем самым демонстрируя пренебрежение к щегольству и полному параду. Перед его видавшей виды тужурки уже давно не синий, а выцветший, серый от пыли и пятен. Когда-то золотые, пуговицы позеленели. И форменная сорочка у него неопределенного цвета – отливающий лиловым серо-синий тон. Черно-бело-красная лента, на которой болтается Рыцарский крест, давно превратилась в перекрученную петлю.

– Это уже не прежняя команда, – жалуется Старик и испытующим взглядом окидывает молодых вахтенных офицеров, бродивших от столика к столику в середине заведения. – Теперь пришли хлыщи, молодцеватые типы – фанфароны и пустомели.

Вскоре в баре определились две группы: «старые перечницы», как Старик называл своих товарищей, и «молодые милитаристы», идеологически обработанные, с фанатичной верой в фюрера в глазах, с твердыми подбородками, отрабатывающие перед зеркалом неотразимый взгляд безумца и без всякой надобности подбиравшие зады, исключительно ради моды трясти поджатыми ягодицами на балах, слегка склонясь туловищем вперед.

Я разглядывал это сборище юных героев, словно видел их впервые. Узкие губы с глубокими складками в уголках рта. Отрывистые фразы. Надутые от сознания собственной избранности и алчущие наград и отличий. В голове ничего,

кроме «фюрер глядит на тебя – наше знамя выше смерти».

Две недели назад один из них застрелился в «Мажестик», потому что подхватил сифилис. «Пал за народ и отечество», – сообщили невесте.

Помимо братии старых вояк и молодняка есть еще и индивидуалист Кюглер, который сидит отдельно за столиком со своим первым вахтенным офицером, вплотную к дверям туалета. Кюглер, при дубовых листьях, который со всеми держит дистанцию. Кюглер, благородный рыцарь морских глубин, Парсифаль и факельщик, непоколебимо верующий в окончательную победу. Стальной взгляд голубых глаз, гордая осанка. Ни грамма лишнего жира, – безупречный представитель расы господ. Кончиками указательных пальцев Кюглер брезгливо затыкает уши, когда не желает слушать сальности или язвительные речи отчаянных циников.

Флагманский врач расположился за столиком по соседству. Он тоже занимает особое положение. Его память хранит целую коллекцию разнообразных непристойностей. Поэтому его метко и лаконично зовут «старой свиньей». Девятьсот девяносто пять лет Тысячелетнего рейха флагманский врач считает уже свершившимися и громогласно объявляет об этом, если считает это уместным или когда пьян.

В свои тридцать лет штабс-лекарь пользуется всеобщим уважением: во время третьего боевого похода он принял командование и привел подлодку на базу, после того как в результате сконцентрированной атаки двух самолетов был убит

командир, а оба вахтенных офицера тяжело ранены.

– Кто-то сыграл в ящик? Или здесь поминки? – ворчит он теперь. – Мы где находимся, собственно говоря?

– Здесь и без того бедлам! – морщится Старик и делает осторожный глоток.

Моника, видимо, поняла флагманского врача. Она подносит микрофон так близко к ярко накрашенному рту, словно собирается его проглотить, взмахивает пучком фиолетовых перьев в левой руке и прокуренным голосом принимается горланить:

– J'attendrai— le jour et la nuit![5]

Ударник месит метелкой по серебристому брюху барабана.

Подвывания, всхлипы, стенания: Моника аккомпанирует пению вихлянием, потягиванием, потряхиванием своей необъятной груди, просвечивающей молочно-белым, усиленной работой ягодиц и непрестанной игрой с пучком перьев. Она словно индейское головное украшение прикладывает их к затылку и пару раз быстро хлопает ладошкой по губам, сложенным бантиком. Затем протаскивает перья у себя между ног —…le jour et la nuit – и томно закатывает глаза. Нежно проводит рукой по перьям, отклячивает зад навстречу пучку перьев, снова протягивает перья снизу вверх – бедра вихляют, – выпятив губы трубочкой, дует на трепещущий пух…

---

[5] Я дождусь – днем и ночью! (фр.)

Вдруг она подмигивает поверх столов кому-то у двери. Ага, господин командующий флотилией со своим адъютантом! И эта дылда со слишком маленьким личиком гимназиста едва ли заслужил большего, нежели мимолетное подмигивание с подиума. Командующий флотилией не ответил понимающей улыбкой, зато окинул заведение пронзительным взглядом, словно уже искал запасный выход, чтобы тут же незаметно уйти.

– Ого, высокий гость удостоил посещением простой люд! – раздается громкий голос Трумана, одного из самых злоязычных типов старой гвардии, перекрывая всхлипы Моники.

Пошатываясь, он направляется к креслу командующего флотилией.

– Ну что, старый индеец? Еще одна вылазка на фронт, а? Пошли, тут есть одно славное местечко… рядом с оркестром… отличная перспектива снизу… Что, не желаешь? Ну и замечательно!.. Каждый со своим флаконом – а там как у кого получится!

Труман, как всегда, в стельку пьян. Густой ежик его черной шевелюры усыпан сигаретным пеплом. В шапке волос запуталось три-четыре окурка. Один еще дымится, Труман в любой момент может вспыхнуть. Рыцарский крест он носит на корме. «Кильский воротничок, железный кильский воротничок», – говаривал он о таком украшении.

Лодку Трумана зовут «гроб с музыкой». С пятого выхо-

да в море его преследуют невероятные неудачи: продержаться в море больше недели ему уже не удавалось. «Возвращаться на карачках и ползком», как он называет это, стало для него привычным делом. Его засекали еще на подходе к оперативному району: бомбили самолеты, топили глубинными бомбами. Постоянно отказывающие механизмы, прорванные выхлопные патрубки, пробитые сальники – и никаких шансов на успех для Трумана и его экипажа. Каждый на флотилии про себя удивлялся, как еще он и его люди вообще выдерживали столь многочисленные удары судьбы при абсолютной безысходности.

Гармонист уставился поверх растянутых мехов, словно наблюдает какое-то видение. Мулат возвышается из-за огромного, как луна, барабана лишь по третью пуговицу на рубашке: то ли он карлик, то ли так низко сидит. Моника морщит курносый нос и рыдает в микрофон: «In my solitude…»[6]При этом она так извивается в сторону Трумана, пока тот вдруг не вскрикивает: «На помощь! Газы!» – и не падает навзничь. Моника замолкает. Труман машет руками, потом опять привстает и рычит:

– Чистый огнемет, – она, видно, сожрала целую головку чесноку! Нечистая сила!

Появляется стармех Трумана Август Майерхофер. С тех пор как он стал носить на тужурке Германский крест, его называют Август с «глазуньей».

---

[6] «В моем одиночестве…» (англ.)

– Ну, как там в борделе? – орет ему Труман. – Тебя качественно оттрахали? Очень полезно для цвета лица. В конце концов, твой старенький папочка Труман должен знать.

За соседним столиком хором ревут:

– «О, прекрасный Ве-е-стервальд!»

Флагманский врач дирижирует этим нестройным хором, размахивая бутылкой. Вокруг большого круглого стола, стоящего вплотную к сцене, по негласной договоренности зарезервированного исключительно за старой гвардией, сидят и лежат в кожаных креслах более или менее пьяные товарищи Старика: Купиш и Штакман, «сиамские близнецы», Меркель, Келлер, по прозвищу Пень Замшелый, Кортман, прозванный Индейцем. Все они преждевременно поседели, истинно морские гладиаторы, действуют хладнокровно, хотя и лучше всех знают, каковы их шансы. Они способны часами сидеть, уставившись невидящим взглядом – почти неподвижно. При этом не способны удержать стакан в руках, не расплескав его.

У всех за плечами более полудюжины тяжелых боевых походов, с крайним напряжением нервов, нечеловеческими мучениями, безвыходными ситуациями, которые переменялись в их пользу исключительно благодаря чуду. Не было среди них ни одного, кто бы хоть раз возвращался на неповрежденной подлодке, так сказать, вопреки ожиданиям – со сметенными авиабомбами надстройками, с искореженной от тарана рубкой, с дифферентом от пробоин в носу, с изуродо-

ванным прочным корпусом. Но каждый раз они прямо стояли на ходовом мостике и держали себя так, словно в походе ничего особенного и не случилось.

Так держать себя, будто ничего не произошло, требует регламент. Нытье и паника не дозволяются. Главное командование подводного флота крепко держит в руках нити этой игры. Для командования в порядке тот, у кого голова на плечах и наличествуют четыре конечности. Для командования подводного флота сумасшедший тот, кто буйствует. Вместо старых командиров оно уже давным-давно вынуждено присылать на боевые лодки негодных бесшабашных людей. Но к сожалению, эти бесстрастные послушники с их стальными нервами оказываются во многом менее эффективными, чем старые командиры. И эти ребята пускаются на все мыслимые уловки, чтобы не отпустить от себя хорошего, опытного вахтенного офицера, который сам мог бы стать командиром.

Эндрасса не следовало бы выпускать в море, во всяком случае, в таком состоянии. Он совершенно измочален. Но таковы обстоятельства: командование поразила слепота. Оно не видит, что кто-то уже готов. Или не желает видеть. Ведь старые асы – те, кто ему приносит успехи, – пополняют папки победных реляций.

Ансамбль делает перерыв. Я снова могу слышать обрывки разговоров:

– А где, собственно, Кальман?

– Он точно не придет!

– Ну да, оно и понятно.

Кальман пришел позавчера с тремя победными вымпелами на полувыдвинутом перископе: три транспорта. Последний он потопил на прибрежном мелководье из пушки.

– Заглотал свыше сотни снарядов! Море было бурное. Пришлось ложиться в дрейф и стрелять на сорок пять градусов мористее. Предыдущий мы торпедировали из подводного положения в сумерки, около девятнадцати часов. Два попадания в двенадцатитысячник, один промах. Потом за нас принялись они. Восемь часов глубинной бомбежки. Вероятно, они прекратили, когда у них больше не оставалось бомб на борту.

Ввалившимися щеками и белокурой курчавой бородой Кальман похож на распятого Христа. Он размахивает руками, словно ему это необходимо, чтобы выталкивать свои слова.

Мы напряженно слушаем, скрывая замешательство за показным интересом: когда же он наконец задаст вопрос, которого мы страшились?

Закончив рапорт, он уже больше не жестикулировал руками. Сидел неподвижно, облокотившись и сложив ладони. И лишь тогда, подняв на нас взгляд поверх своих пальцев, спросил – с нарочитым равнодушием в голосе:

– Что слышно о Бартеле?

Никто не отвечал. Командующий флотилией чуть склонил голову.

– Ну да, я догадывался, когда от него перестали приходить радиограммы. – Минута тягостного молчания, потом он громко спросил: – Так ничего и не известно?

– Ничего!

– Есть еще надежда?

– Никакой!

Сигаретный дым неподвижно висит около рта.

– Мы всегда стояли у пирса вместе. Я еще провожал его, – наконец говорит Кальман. Беспомощно, смущенно.

Мы все знали, какими большими друзьями были Кальман и Бартель. Они всегда старались подгадать так, чтобы вместе выходить в море. Вместе атаковали конвои. Кальман как-то сказал: «Всегда чувствуешь себя уверенней, когда знаешь, что ты не один».

Через распашные двери входит Бехтель. У него белесые волосы, ресницы, брови, отчего он кажется слегка ошпаренным. Когда он бледнеет, как теперь, на лице у него особенно четко проступают веснушки.

Шум, грохот. Бехтель окружен группой молодняка. Он должен всем поставить за свое второе рождение.

У Бехтеля позади происшествие, которое Старик отметил как «оригинальное»: Бехтель после жестокого преследования глубинными бомбами со всевозможными повреждениями всплыл в предрассветных сумерках и обнаружил шипящую глубинную бомбу на верхней палубе перед пушкой. Корвет еще поблизости, и бомба на боевом взводе перед хо-

довой рубкой. Она была выставлена на большую глубину и не взорвалась, когда легла Бехтелю на верхнюю палубу на глубине шестидесяти метров.

Бехтель дал команду обоим дизелям на самый полный, а боцман должен был столкнуть глубинную бомбу за борт, как самую заурядную бочку. «Грохнуло через двадцать пять секунд. Значит, была установлена на глубину сто метров». Тут Бехтель снова ушел на глубину и получил еще двадцать глубинных бомб.

– Я бы ушел под воду прямо с хлопушкой, – орет Меркель.

– Мы бы тоже с удовольствием. Однако чертово шипенье никак не прекращалось. Просто не нашли клапан. Так что было весело!

Лавочка все больше заполнялась. Но Томсена все еще нет.

– Да где же он?

– Может, на скорую руку решил вставить еще раз?

– Ну, не знаю, думаешь, в таком-то состоянии он способен попасть в цель?

– С Рыцарским крестом на шее совсем иная потенция!

При награждении Рыцарскими крестами сегодня во второй половине дня Томсен еще стоял перед командующим флотилией несокрушимо, точно изваяние. Он так взял себя в руки, что в лице не было ни кровинки. В таком состоянии он вряд ли мог уловить хотя бы слово из энергичной речи командующего.

– Не может понять, что я не собираюсь выслушивать его

дерьмо, – пробормотал Труман. – Каждый раз в докладе сплошная трескотня. А ведь здесь не зверинец. Или он держит себя за берберийского льва? Ну и ряженая обезьяна! – выругался он вслед командующему подводным флотом, который после мужественного рукопожатия вышел с грозным взглядом. Затем Труман цинично бросил окружающим: – Замечательная обивка! – При этом он показал на фотографии погибших на трех стенах: портрет за портретом в траурных рамках. – Еще осталось местечко рядом с дверью!

Тут и моему взору представилось фото, очередное, чтобы в черной рамке попасть на стену: Бекман.

Бекман давно должен бы был возвратиться. Сообщение о потерях уже не заставит себя долго ждать. Они выскребали его из парижского поезда вдрызг пьяным. Потребовалось четыре человека, чтобы вытащить его оттуда. Скорый поезд вынужден был все это время стоять. А из него хоть веревки вей. Совершенно невменяем. Глаза кроваво-красные, как у кролика. И все это за сутки до выхода в море. Ну как даже флагманскому врачу было поставить его на ноги?!

Возможно, его потопил самолет. Бекман перестал радировать уже вскоре после выхода в море. Вряд ли можно поверить, будто бы томми уже рискуют подбираться к самому навигационному бую «Нанни-I».

Я вспоминаю Боде, офицера из главного морского штаба в Керневеле, пожилого замкнутого человека, который поздними вечерами имел обыкновение в одиночку напиваться в

офицерском собрании. За один только месяц потеряли тридцать подлодок. «Поневоле сделаешься горьким пьяницей, если опрокидывать по рюмке за каждую».

Флексиг, тяжелый, грубо скроенный мужик из компании Старика, падает в последнее свободное кресло за нашим столиком. Неделю назад он вернулся из Берлина. С тех пор не обмолвился и словом. Но тут разразился:

– Этот недоумок, этот разряженный штабной болван говорит мне: «Ни в одном уставе нет положения, чтобы командир носил белую фуражку!» – «Честь имею посоветовать исправить это упущение!» – сказал тогда я.

Флексиг делает из стакана пару основательных глотков «Марте-ля» и тыльной стороной ладони тщательно вытирает влагу с губ.

– Вот это мне нравится: ломать комедию из-за несчастной командирской фуражки! И здесь мы должны выслушивать какого-то гонщика. Что они там, в самом деле, думают? Присылают нам сюда олухов шоферистов. Господин Штук! Позвольте ваше фото с автографом! Комедия! И тут этот индюк! Нам просто необходимо, чтобы какой-нибудь хлыщ читал проповеди!

Эрлер, молоденький обер-лейтенант, недавно совершивший свой первый боевой поход в должности командира, пинком отворяет распашную дверь, так что она с треском хлопает. Из его нагрудного кармана торчит кончик розовых панталон. Вернувшись сегодня рано утром из отпуска, он уже во

второй половине дня в «Мажестик» громогласно хвастался о своих переживаниях. Как он рассказывал, в его местечке ему устроили факельное шествие. От бургомистра он получил полсвиньи. Все это он подкреплял вырезками из газет: вот он стоит на балконе ратуши, подняв правую руку в нацистском приветствии, морской герой, которого чествуют на родине.

– Ничего, скоро и он угомонится, – бормочет Старик.

В компании Эрлера приходит диктор радио Кресс, сальный, с огромными ногами живой заводила, и бывший окружной докладчик Маркс, который теперь пишет трескучие выдержанные статьи. Оба выглядят словно Пат и Паташон в морской форме: радиодеятель долговяз и нескладен, сдержанный Маркс мал и толст.

При виде их Старик шумно шмыгает носом.

Любимое слово радиомужа – «неотвратимый». «Неотвратимо возрастающая мощь»: вооружения, триумфальные цифры, воля к победе – все должно неотвратимо нарастать.

Эрлер вальяжно расположился перед Стариком и молодцевато приглашает его выпить вкруговую. Старик некоторое время вообще никак не реагирует, но потом, наклонив набок голову, выдает из своего парикмахерского кресла:

– Для доброй бутылочки всегда найдется время!

Я уже знаю, что будет дальше: Эрлер станет демонстрировать посередине заведения свое искусство откупоривать бутылку шампанского одним-единственным коротким уда-

ром тыльной стороной ножа снизу по утолщению на горлышке бутылки. В этом он великий мастер. Пробка вместе со стеклянным горлышком отскакивает, не образуя ни одного осколка, и шампанское бьет как из огнетушителя. Нечто подобное я наблюдал на тренировке дрезденской пожарной команды: перед Оперой пожарные на День имперской пожарной службы воздвигли стальную мачту со свастикой из труб на макушке. Вокруг мачты съехалось целое стадо красных автомобилей. Вся огромная площадь была заполнена толпой в нетерпеливом ожидании. И тут из громкоговорителей раздалась команда: «Пену подать!» И из четырех концов свастики стала бить пена. Свастика принялась вращаться, сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, пока не превратилась в рассеивающий пену вихревой диск. Толпа выдохнула: «А-ах!» И тут пена начала постепенно окрашиваться в розовый цвет, затем в красный, фиолетовый, потом синий, зеленый, желтый. Люди аплодировали, а в это время перед Оперой по лодыжку поднималось пенное анилиновое покрывало.

Снова хлопок дверью. Вот наконец и Томсен. Наполовину поддерживаемый, наполовину подталкиваемый своими офицерами, он смотрит остекленевшими глазами прямо перед собой. Я быстро подтаскиваю кресло, чтобы Томсен мог присоединиться к нашей компании.

Моника поет с французским акцентом: «Perhaps I am

Napoleon – perhaps I am the king…»[7]

Я собираю со столов увядшие цветы и посыпаю ими голову Том-сена. Тот, ухмыляясь, позволяет украшать себя.

– Где пропадает командующий флотилией? – спрашивает Старик.

Только теперь мы замечаем, что командующий снова скрылся. То есть еще до самого разгара празднества. И Кюглера тоже нет.

– Трусливые говнюки! – чертыхается Труман, с усилием приподнимаясь и пробираясь между столиков. Возвращается с ершиком для унитазов.

– Фу-ты черт! – восклицает Старик.

Но Труман, пошатываясь, приближается. Опершись левой рукой о наш столик, он останавливается перед Томсеном, пару раз втягивает в себя воздух и орет во всю мощь легких:

– Эй, в борделе, смирно!

Музыка сразу прекращается, Труман размахивает вблизи лица Томсена мокрым ершиком, с которого брызжет вода, и пьяным голосом начинает декламировать:

– Наш славный, бесценный фюрер, о ты, трезвенник и девственник, из подмастерья, растиравшего краски, превратившийся в великого мастера и достигший небывалых высот в батальных сценах… разве не так?

Труман несколько секунд пьяно наслаждается собственным умилением, прежде чем продолжить декламацию:

---

[7] «Может, я Наполеон – может, я король…» (англ.)

– Итак, ты, о великий флотский специалист, до сих пор непревзойденный морской стратег, тот, кто своей неукротимой волей… как там дальше?

Труман вопрошающим взглядом обводит сборище, утробно рыгает и продолжает:

– Ты, о великий флотоводец, который этому английскому зассанцу, этому сифилитику с сигарой… хи-хи, что он там еще наваял? – ты, который показал этой заднице Черчиллю, где раки зимуют!

Труман обессиленно падает в кресло и обдает меня коньячным перегаром. В слабом освещении лицо его кажется зеленым.

– Посвящение в рыцари, новое посвящение в рыцари! – заплетающимся языком выдавливает он. – Пачкун и сраный черчиллишка!

Пат и Паташон со своими стульями втискиваются в наш кружок. Они примазывались к Томсену, чтобы, используя его пьяное состояние, выудить что-нибудь о последнем походе. Одному Богу известно, для чего они для своих избитых статей все время стараются взять интервью. Но Томсен уже давно недееспособен. Он бессмысленно взглядывает на обоих и, когда те старательно заговаривают с ним, выдает одно и то же:

– Да, совершенно верно, немедленное всплытие – как и ожидалось! – попадание прямо позади рубки – blue

funnel[8]пароход. Не поняли? Нет, не funny – funnel!

Кресс чувствует себя одураченным Томсеном, он озадаченно сглатывает. Очень комично наблюдать, как движется вверх-вниз его кадык.

Старик забавляется этой тяжкой пахотой. Он и не думает идти на помощь.

В конце концов Томсен уже не в состоянии ничего понимать.

– Все дерьмо! Эти сраные угри! – ревет он.

Я понимаю, что он имеет в виду: в последние недели отказы торпед следуют одна за другой. Столько отказов не может быть случайным. Поговаривали о саботаже.

Вдруг Томсен вскакивает, в глазах ужас. Наши стаканы бьются. Это зазвонил телефон. Томсен принял телефонный звонок за ревун срочного погружения.

– Порцию рольмопса! – требует он теперь, сильно качаясь. И произносит это так, будто вскочил именно для того, чтобы перекричать весь зал: – Рольмопсы на всю банду!

Вполуха я слышу обрывки того, что Меркель в кресле за моей спиной рассказывает в своем кругу:

– Унтер-офицер центрального поста годен. Отличный моряк. Дизелиста мне придется списать, не годится… Корвет был не на ходу. Стармех погружал подлодку недостаточно быстро… Смотрим, один болтается. Выглядит словно тюлень. Мы подошли поближе, потому что хотели узнать его

[8] С синей трубой (англ.).

имя. Парень был черный от мазута. Повис на буе.

Эрлер заметил, что, если пустой бутылкой проехать по ребрам батарей отопления, поднимается ужасный шум. Две-три бутылки лопаются, но Эрлер не отступает. Хрустит стекло под ногами. Моника бросает яростные взгляды, потому что из-за шума больше не может подвывать.

Меркель медленно поднимается и сквозь карманы брюк тщательно чешет у себя между ног. Вот появляется и его стармех. Все завидуют его умению свистеть с помощью двух пальцев. Он может имитировать все: пронзительный воровской «атас!», полицейские свистки, выводить причудливые рулады, искусные фиоритуры.

Он хорошо нагрузился и тотчас предлагает научить меня свистеть. Но сначала ему нужно в клозет. Когда он возвращается, то командует:

– Вали мыть лапы!

– Зачем это?

– Если подойдет – для меня, – то хватит одной.

После мытья стармех Меркеля внимательно рассматривает мою правую руку. Затем решительно засовывает в рот мой указательный и средний пальцы и, издав пару пробных звуков, начинает уже высвистывать целую мелодию, все пронзительнее и стройнее. Стар-мех Меркеля при этом закатывает глаза. Я просто потрясен. Еще пара причудливых рулад – и конец. Я внимательно разглядываю свои мокрые пальцы. Мне нужно запомнить положение пальцев, говорит стармех

Меркеля.

– Отлично!

Теперь пытаюсь свистнуть сам, но извлекаю лишь пару жалобных звуков и шипение наподобие травящего воздух шланга.

Стармех Меркеля реагирует на мою попытку безнадежным взглядом. С наигранной невинностью он снова сует мои пальцы в рот и изображает фагот.

Мы сходимся на том, что все дело в языке.

– Которыми вы, к сожалению, не можете обменяться! – говорит Старик.

– Безрадостная юность! – орет Кортман в момент короткого затишья. Кортман с орлиным профилем, по прозвищу Индеец. В Керневеле в глазах главного командования Кортман низко пал после истории с танкером и «Бисмарком». Не выполнивший приказа Кортман. Спасти германских моряков! И сделать свою лодку небоеспособной! Не выполнить стратегическую задачу из-за сантиментов! Такое могло случиться только с Кортманом, одним из стариков с замшелыми заповедями: «Первая заповедь каждого моряка – спасение потерпевшего кораблекрушение!»

Сейчас он может орать от души, этот старомодный господин Корт-ман, который в глазах главного командования подводного флота слишком медленно соображает и все еще не понял, что порядки стали гораздо строже.

Сыграло свою роль и невезение: надо же было англйско-

му эсминцу появиться как раз в тот момент, когда Кортман принял заправочные шланги с танкера? Собственно говоря, топливо предназначалось для «Бисмарка». Но «Бисмарк» уже не нуждался в топливе. «Бисмарк» был нейтрализован – вместе с экипажем в 2500 человек. А танкер болтался поблизости, заправленный под завязку, без каких-либо возможных потребителей. Тогда командование решило, что его должны опустошить подводные лодки. И как раз когда там был Корт-ман, это и случилось: англичане под носом у него расстреляли танкер, и 50 человек его экипажа болтались в воде, а участливый Корт-ман ну просто не мог бросить их на произвол судьбы.

Кортман был горд и уловом: разместить 50 моряков на подлодке серии VII C, где едва хватает места даже для собственного экипажа. Как он их рассовал, остается его тайной, возможно, уложил как сардины в консервной банке: одна голова направо, другая налево и всех в момент выдоха. Добрый Кортман был уверен, что совершил чудо.

Состояние опьянения начинает стирать границы между лагерями старых морских львов и молодых милитаристов. Все уже пытаются говорить одновременно. Я слышу, как разглагольствует Бёлер:

– Но ведь существуют директивы, господа, четкие директивы! Приказы! Абсолютно ясные приказы!

– «Директивы, господа, четкие приказы», – обезьянничает Том-сен. – Я не шучу. Неяснее и не бывает!

Томсен снизу искоса уставился на Бёлера. Во взгляде его вдруг вспыхивают злые искры, и он становится внимательным.

– Да это же система, чтобы держать нас в неведении.

Земиш просовывает свою голову морковкой в кружок. Он уже хорошо нагрузился. В сумеречном освещении кожа на его лице напоминает тушку ощипанного и ошпаренного петуха.

– И что тут ломать голову, – лепечет он, – я всегда говорил: у лошади голова большая! Вот пусть она и думает.

Тогда Бёлер внушает морковке Земиша:

– Дело-то вот в чем: в тотальной войне эффективность нашего оружия…

– Идиотская газетная передовица! – издевается Томсен.

– Дайте же мне высказаться! Представьте себе такой пример: вот вспомогательный крейсер выловил какого-нибудь томми, который уже трижды побывал в луже. И что делать? У нас война или мы просто топим? Что толку, если мы потопим судно, а потом станем вылавливать потерпевших кораблекрушение и высаживать их на следующий пароход… Да еще за это они получат кучу деньжат!

Наконец-то Бёлер произнес ключевое слово жгучей, но табуированной темы: уничтожать врага или только его суда? уничтожать моряков или только топить корабли?

– Да это сплошь и рядом, – упорствует Земиш.

Но тут вмешивается Труман. Агитатор Труман чувствует

себя задетым. Опасная тема, от которой готовы увильнуть все, но только не старый Труман. Сейчас станет жарко. Сейчас последует разъяснение.

– Немного систематизируем, – командует он. – Командование подводного флота отдало приказ: уничтожать противника, поддерживая высокий боевой дух, с твердой решимостью и непреклонностью и так далее прочий вздор. Но командование ни звука не говорит о том, чтобы атаковать людей, барахтающихся в воде, – не так ли?

Пока еще он настолько в себе, этот Томсен с аскетически обтянутым кожей лицом, чтобы разыгрывать роль провокатора.

– Не-ет, конечно же ни звука. Но оно недву-смыс-ленно четко дало понять, что потери именно экипажей противника должны быть особенно тяжелыми.

Труман корчит хитрую мину и слегка подливает еще масла в огонь:

– Ну и?..

Томсен тут же снова протестующе разражается сиплым от коньяка голосом:

– Тут каждый может понимать в меру своей испорченности… Толково придумано!

Теперь Труман весьма своевременно подначивает:

– Но ведь есть кое-кто, кто сумел решить проблему на свой манер, да еще хвастает этим: ни одного человека и пальцем не тронул, а вот все спасательные шлюпки расстрелял.

Если метеоусловия таковы, что морячки в луже вскоре точно пойдут ко дну, тем лучше – дело сделано! Конвенция соблюдена… верно? А командование подводного флота знает, что его правильно поняли!

Каждый знал, о ком идет речь, но никто даже не посмотрел в сторону Флоссмана.

Нужно позаботиться о пожитках, которые я хочу взять с собой. Только самое-самое необходимое. В любом случае новый свитер. И одеколон. А вот лезвия – их я могу сэкономить…

– Надоела уже вся эта возня, – снова слышу я Томсена. – Пока человек топчет палубу своей посудины, разрешается расстреливать его, а как только бедолага оказывается в воде, его становится жалко до слез. Не смешно ли это?

Труман вступает снова:

– Я просто хочу сказать, как обстоит все на самом деле…

– Вот как?

– Когда видишь барахтающегося в воде парня, сразу представляешь, что мог бы сам оказаться на его месте. Вот в чем суть. А со всем пароходом никто себя не идентифицирует. Он никого не трогает. Отдельный человек – дело другое! И все сразу предстает в ином свете. Тогда становится не по себе. А поскольку вещь эта неприятная, стараются тут же приспособить этические нормы – и хлоп, все уже опять идет как по маслу!

Новый исландский свитер, который связала мне Симона,

отличная вещь. Ворот до ушей, вязка – не какая-нибудь жалкая поделка, а по-настоящему нужной плотности. Все-таки, возможно, пойдем на север. В Датский пролив или еще выше. Русские конвои. Противно, когда толком никто ничего не знает.

– Но потерпевшие кораблекрушение совершенно беззащитны! – жалобно-настойчиво канючит Земиш.

– Хватит об этом! Старая песня!

И все началось сначала. Томсен заводит заново:

– Однажды я тоже заметил, что на танкере находятся люди. Но беззащитны ли они, вот в чем гвоздь? Да уж, логикой тут мало что решишь!

Томсен делает рукой разочарованный жест, бормочет «Ах, дерьмо!» и роняет голову.

Меня охватывает желание встать и убраться отсюда, пойти и наконец-то как следует собрать пожитки. Одну-две книги. Только больше никакого шнапса! Здешний свалит и самого крепкого мужика. Сохранить голову хотя бы наполовину ясной. Последняя ночь на суше. Запасные пленки. Широкоугольный объектив. Мохнатая шапка. Черная шапка с белым свитером? Наверное, будет выглядеть комично.

Штабс-лекарь опирается широко растопыренными пальцами ладоней на мою левую и на правую руку Старика, словно собираясь упражняться на брусьях. При этом он во всю глотку старается перекричать вновь заигравшую музыку:

– Мы тут отмечаем кавалеров Рыцарского креста или

устраиваем философский диспут? К черту дерьмовые речи!

Только теперь я замечаю, что за столом Томсена все еще спорят. Один лишь Томсен молчит, повесив голову.

Рев флагманского врача пробуждает пару вахтенных офицеров, которые также начинают орать, словно только и ждали команды. Оба вскакивают на стулья и сверху льют пиво на пианино, клавиши которого каплей обрабатывает как сумасшедший. Одну бутылку за другой. Фортепьяно жадно заглатывает пиво.

А поскольку оркестр и пианино производят недостаточно шума, заводят еще и граммофон. Он стонет во всю мощь: «Where is the tiger? Where is the tiger?»[9]

Тут один долговязый светловолосый обер-лейтенант скидывает с себя тужурку, одним махом вскакивает на стол и устраивает танец живота.

– Хочу на сцену!

– Классно!

– Не подходи! Желаю мальчика!

Кто-то во время бурных аплодисментов уютно заворачивается в красную дорожку, вешает себе на шею белый спасательный буй, сняв его со стены, и тут же засыпает.

Бехтель, по натуре своей не склонный к разнузданным оргиям, с диким взором отбивает ладонями такт румбы, чего требует от него исполнитель танца живота.

Наш старший механик, только что тихо сидевший у стола,

[9] «Где тигр? Где тигр?» (англ.)

погрузившись в раздумья, вдруг тоже как с цепи сорвался: он вскарабкивается на настенную штакетину над сценой и, кривляясь как обезьяна, в такт музыке срывает искусственную виноградную лозу. Рейка дрожит, как в старых немых фильмах, на мгновение зависает в полуметре от стены и затем грохается вместе со стармехом на сцену.

Теперь тапер, закинув голову назад, словно ему с тяжким трудом приходится читать ноты на потолке, выколачивает из клавиш маршевый ритм. Одна группа собралась вокруг фортепьяно и горланит:

Мы будем маршировать всегда,
Хоть дерьмо с небес вали,
Мы хотим обратно в город Говна,
Ведь там задница всей Земли.

– Ядрено, доблестно, по-тевтонски, – бормочет Старик.

Труман уставился на свой стакан, затем поднимает его, будто держась за электрический провод, и орет:

– Скол!

С высоты сантиметров в десять он пытается влиять в себя пиво, при этом по его тужурке течет слюнявый ручеек.

– Черт, вот свинство, – ругается Труман, заметив сюрприз.

Клементина ковыляет к нему с салфеткой. «Молния» на ее юбке сзади выпирает из швов. Когда она склоняется над Труманом, ямочки под ее коленками на фоне черной ткани светятся молочно-белым.

– Ах ты поросеночек! – шепчет она ему в ухо и тщательно оттирает его. При этом она так нависает над его лицом своей пышной грудью, что он мог бы укусить ее. Сейчас она вся заботливая мамочка.

– Настоящая оргия! – слышу я Мейнига, по прозвищу Флагманский Говномет. – Не хватает только дамочек!

Словно это было сигналом для них, сразу исчезают первый и второй офицеры с подлодки Меркеля. У самого выхода они оглядываются по сторонам, будто кого-то поджидая. А я-то думал, что эти давно уже ушли.

– Трусливые стервятники, – бормочет Старик, – не могут без этого, как могильщики без шнапса!

Вполуха я слышу с соседнего столика:

…когда его охватила страсть,
Вскочил он на кухонный стол
И сунул в податливый фарш.

Вот так оно всегда: благородные воины фюрера, блестящее будущее нации, а потом пара залпов коньяку с пивом между ними – и прощай мечта о незапятнанных, блестящих доспехах.

– Важнецки, – ворчит Старик, выуживая вытянутой рукой свой стакан. – Чертово кресло – с него просто никак не встать!

– Ха-ха! – раздается с соседнего столика. – То же самое говорит и моя девчонка: просто никак не встать, ну просто

никак!

Старик застывает с полуоткрытым ртом, настолько он озадачен.

Пень Замшелый упрямо трясет головой:

– На этот раз все. Слушай: можете травиться; а я сюда больше ни ногой. На сей раз все.

– Конечно, придешь, – успокаивает его Труман.

– На ящик коньяку спорим – не приду?

– Который мне придется ставить ангелу – ангелочку в белых одеяниях? – осведомляется Труман.

Пень Замшелый непонимающе уставился на него.

– Значит, так, теперь ты слушай: если ты приходишь сюда снова, то, стало быть, проигрываешь, – пытается растолковать Труман. – Это же понятно, ведь верно? И тогда ставишь ящик коньяку. Если не возвращаешься, то выигрываешь…

– Точно!

– И тогда ящик коньяку ставлю я!

– Вот именно!

– Но вот только вопрос: кому?

– Как – кому? Ставишь мне – все логично!

– Но ведь ты уже в стельку пьян!

– Это я-то? Да ни грамма!

На столе дикий хаос бутылок из-под шампанского с отбитыми горлышками, пепельниц с плавающими окурками, жестянок с рольмопсами и разбитых стаканов. Томсен с удовлетворением блуждает взглядом по полю битвы. Когда фор-

тепьянная музыка наконец-то прерывается, он вскидывает правую руку:

– Внимание!

– Трюк со скатертью! – говорит наш стармех.

Труман осторожно сворачивает уголок скатерти жгутом – ему требуется на это добрых пять минут, потому что скатерть, уже почти наполовину скрученная, дважды вырывается из его рук. Затем свободной левой рукой он подает знак таперу, который, словно заученный номер, тотчас начинает барабанить по клавишам туш. Труман, подобравшись словно штангист, делает стойку, минуту неподвижно смотрит на обе свои руки со скрученным жгутом концом скатерти, неожиданно издает утробное «хоп!» и резким взмахом руки наполовину сдергивает скатерть со стола. Звон разбитых стаканов, стук и грохот падающих на пол бутылок и тарелок.

– Проклятие, вот дерьмо! – ругается Труман и топает по хрустящим осколкам. Шатаясь, он направляется на кухню и требует веник и совок. Затем под дикий хохот всей шатии-братии он ползает между столами, сметая в совок осколки. За ним уже тянется кровавый след.

Ручка веника и рукоятка совка в одно мгновение становятся красными. Два обер-лейтенанта пытаются отнять у Трумана веник с совком. Но Труман упрямо сопротивляется, пока не собирает все до последнего осколка.

– При-борка, прежде всего хорошая при-борка. Обязательно общая приборка на судне…

Наконец он шлепается в кресло, и флагманский врач вытаскивает из его ладони три-четыре осколка. Кровь продолжает обильно капать на столик. Труман вытирает лицо окровавленной рукой.

– Фу-ты черт! – говорит Старик.

– А, наплевать! – бурчит Труман, но позволяет заклеить себе ладонь пластырем, который, закатывая глаза, приносит Кристель.

Не просидев спокойно и пяти минут, Труман уже снова вскакивает, вытаскивает из кармана замызганную газету и принимается орать во все горло:

– Если у вас, баранов, в голове пусто, то вот они, золотые слова…

Я вижу, что он держит в руках: завещание капитан-лейтенанта Мёнкеберга, который якобы пал в бою с врагом, а на самом деле умер банальнейшим образом, точнее, свернув себе шею. А шею он свернул, когда где-то в Атлантике в спокойном месте, поскольку была прекрасная погода, пожелал искупаться. Когда он прыгал в воду с ходовой рубки, лодка легла на другой борт, и Мёнкеберг с хрустом врезался головой в водозаборник балластной цистерны.

Его энергичная лебединая песня облетела все газеты.

Труман держит газетную вырезку на вытянутых перед собой руках: «Все как один… все за одного… один за всех… и я так скажу вам: товарищи, лишь исключительный боевой дух – основа драматической борьбы всемирно-исто-

рического значения… беспримерный героизм… историческое величие… неподражаемый… единственный в своем роде… непреходящая глава испытания солдатской жертвенности мужчин… высокий моральный облик… живущие и грядущие… стать полезным… быть достойными вечных заветов!»

Труман шатается с истертым и явно уже нечитабельным клочком газеты перед глазами, но не падает. Такое впечатление, словно его ботинки приклеены к полу.

– Потрясающий номер, – говорит Старик, – теперь он не даст себя перебить!

Один обер-лейтенант сел за пианино и наигрывает джаз, но Трумана это нисколько не беспокоит, голос его срывается: «Мы, товарищи… знаменосцы будущего… жизнь и дух человеческого отбора по критерию «служение»… мужество сильнее судьбы… любовь и верность в той небывалой степени, о которой их болтуны не имеют никакого представления… гордо и мужественно». – «Ур-ра!» – «Обрел свою могилу в глубинах Атлантики». – «Хи-хи-хи!» – «Глубокое единение фронта и родины… жертвенная готовность бороться до самого конца… Нашему горячо любимому германскому народу. Нашему замечательному, богоизбранному фюреру и главному командованию – хайль! хайль! хайль!»

Некоторые присоединяются. Пень Замшелый озадаченно смотрит перед собой. Бёлер наделяет Трумана язвительным взглядом гувернантки, поднимается из кресла во весь свой

рост и, не простившись, исчезает.

Труман принимается хихикать. С длинной струйкой слюны в углу рта, наклонив голову, падает он в круг сидящих.

– Все утонченные натуры уже ушли. Благородные! Вот только про… пролетарии еще тут, проклятые пропойцы и потаскуны – отбросы! Отстой добровольцев Дёница! Кто теперь не останется, будет расстрелян!

– Ну ты, вали от моих сисек! – вскрикивает Моника, имея в виду флагманского врача, который явно устроился подле нее слишком уютно.

– Тогда мне придется уединиться с моим кончиком!

Его компания разражается хохотом.

Труман снова падает в кресло и смежает веки. Я было подумал: все же Старик ошибается. Теперь-то добрый Труман заснет у нас на глазах. Но тут он снова подскакивает, будто ужаленный тарантулом, и правой рукой выхватывает из кармана тужурки пистолет.

У одного из вахтенных офицеров реакция еще сохранилась настолько, чтобы ударить его по руке. Пуля попадает в паркет рядом с носком ботинка Старика. Но тот только качает головой и говорит:

– А ведь при этой музыке не так уж и громко!

Пистолет исчезает, а Труман с обиженным видом падает в свое кресло.

Моника, среагировавшая на выстрел с запозданием, вылетает из-за стойки бара, увивается вокруг Трумана, гладит

его по подбородку, словно намыливая для бритья, затем одним скорым прыжком вскакивает на подиум и принимается стонать в микрофон: «In my solitude…»

Краем глаза я вижу, как, словно в замедленной киносъемке, поднимается Труман. Он как бы раскладывает свои движения на отдельные составляющие, затем, хитро ухмыляясь, стоит, шатаясь, минут пять, пока Моника продолжает скулить. На ощупь, пока все бурно хлопают, он пробирается между столиками к стене, прислоняется к ней, продолжая все время ухмыляться, и вдруг молниеносно выхватывает из-за пояса второй пистолет и орет так, что у него надуваются жилы на шее:

– Все на пол!

На сей раз поблизости не оказывается никого, кто бы ударил его по руке.

– Ну? – повторяет Труман.

Старик просто выпадает из кресла с вытянутыми вперед ногами. Трое-четверо укрываются за пианино. Тапер опускается на колени. Я тоже занимаю позу молящегося. В заведении устанавливается мертвая тишина, – и тут хлопают один хлесткий выстрел за другим. Старик громко считает им вслед. Моника пронзительно визжит из-под стола, ее визг пронзает до мозга костей. Старик восклицает:

– Все!

Труман расстрелял весь магазин.

Я выглядываю из-за края стола: у пяти барышень около

задника на сцене нет лица. Пыль штукатурки еще продолжает клубиться. Старик встает первым и, наклонив вбок голову, рассматривает повреждения.

– Фантастический результат, просто коррида, – и это порезанной лапой!

Труман уже спрятал пистолет и, довольно ухмыляясь, переводит взгляд с одного на другого:

– Здорово? А было время, когда истинные германские козочки получали за это отлично!

Труман светится от почти блаженного удовлетворения.

Тут с поднятыми руками, словно она идет сдаваться, пронзительно визжа высоким фальцетом, появляется бандерша.

Увидев ее, Старик снова сползает с кресла на пол. Кто-то орет:

– Всем в укрытие!

Чудеса, что эта старая мымра, выступающая здесь в роли хозяйки, до сих пор еще не появлялась в полной оснастке. Она принарядилась по-испански: слюной приклеенные завитки перед ушами, искрящийся черепаховый гребень в волосах – монумент колыхающегося сала с повсюду перекатывающимися складками. На ней тапочки из черного бархата. Пальцы-сардельки унизаны массивными перстнями в фальшивых камнях. Этот монстр пользуется особым расположением коменданта гарнизона.

Обычно ее голосок напоминает шипенье сала на сково-

родке. Но сейчас она, подвывая, выпаливает французские ругательства. «Капут, капут!» – различаю я среди воплей.

– Капут, в этом она права, – говорит Старик.

Томсен подносит бутылку ко рту и сосет коньяк, как младенец сиську.

Меркель спасает ситуацию. Он мужественно вскарабкивается на стул и широко расставленными руками начинает дирижировать:

О, веселая, счастливая рождественская ночь…

С воодушевлением мы принимаемся горланить вместе с ним.

Бандерша как драматическая актриса заламывает руки. Ее визг лишь временами прорывается сквозь наш хор. Она делает движение, будто собирается сорвать с себя расшитую блестками шаль, но затем лишь запускает пальцы с ярко-красными ногтями в волосы, разворачивается и с пронзительным воплем уносится прочь.

Меркель падает со стула, хор постепенно смолкает.

– Ну и бедлам! Боже, ну и бардак! – говорит Старик.

В любом случае нужно обязательно взять с собой шерстяной пояс, думаю я. Ангорская шерсть. Великолепная штука.

Штабс-лекарь тянет Монику к себе на колени, одной рукой обнимает ее зад, а ладонью другой играет ее правой грудью, как дыней. Пышка Моника в своем слишком обтяги-

вающем одеянии визжит, вырывается, с треском врезается в граммофон, так что иголка с глухим шипением начинает скакать по бороздкам. Моника от смеха почти складывается пополам.

Штабс-лекарь так треснул кулаком по столу, что бутылки подпрыгивают. Багрово-красный, не в силах сдержаться, он прыскает со смеху. Кто-то сзади протягивает к его шее обе руки, словно собирается обнять его, но когда убирает их, галстук штабс-лекаря оказывается обрезанным сразу под узлом, а штабс-лекарь ничего не замечает. Обер-лейтенант с ножницами уже обкорнал галстук Земиша, а затем Том-сена. Моника видит это, от смеха падает на сцене и, дрыгая ногами, демонстрирует, что под юбкой у нее лишь крохотные черные панталончики, своего рода возбуждающий лоскуток. А Недремлющее Око Белзэр уже держит в руках сифон и направляет тугую струю Монике между ног, и та верещит, как дюжина поросят, которым прищемили хвостики. Меркель обнаруживает, что у него отсутствует кончик галстука, Старик бормочет «чисто капповский путч», и Меркель хватает полупустую бутылку коньяку и запускает ее похитителю галстуков прямо в живот. Тот опрокидывается, как нокаутированный.

– Чисто сработано – меткий бросок, – одобряет Старик.

И тут поверху пролетает кусок штакетника. Мы инстинктивно втягиваем голову, лишь Старик не шелохнулся и, ухмыляясь, декламирует басом:

…вот просвистела мраморная столешница,
большое зеркало наскочило на маленького трактирщика.
И вздымается море, и дует ветер.

Фортепьяно вынуждено принять еще порцию пива.

– Шнапс превращает в им-по-тента! – лепечет Томсен. Он едва держится на ногах.

– Может, еще в замок? – спрашивает меня Старик.

– Не-ет – немножко поспать! Хотя бы пару часов!

Томсен с трудом поднимается:

– Пошли… пошли вместе… чертов бардак… отдать концы… только вот отлить… отлить где-нибудь в уголке…

Молочный свет луны за входной дверью встречает меня как удар в лицо. Я не был готов к этому свету: мерцающему, блестящему серебру. Береговая полоса – бело-голубая обжигающая лента в холодном пожаре, улицы, дома – все утонуло в этом ледяном пламени неонового света.

Боже мой! Ведь в ней нет ничего особенного – в этой луне. Круглая и белая, как камамбер. Сверкающий камамбер. Можно прямо газету читать. Вся бухта – сплошной лист серебристой фольги. Огромное пространство от берега до горизонта: миллионы сверкающих металлических чешуек. Серебристый горизонт под черным бархатом неба.

Я прищурился. Остров вдалеке вздымается среди сияния темной спиной рыбы. Дымовые трубы затонувших транспортов, верхушки мачт – все резко очерчено. Я опираюсь на

бетонный парапет: на ощупь он как пемза. Герани в кадках: можно различить каждую почку. Химические снаряды с желтым крестом, должно быть, пахнут точно так же.

Какие контрастные тени! Шелест прибоя на пляже! Сверкающий металл озаренного луной моря раскачивает меня вверх-вниз, вверх-вниз. Затявкала собака: это лает луна.

Но где же Томсен, этот новоиспеченный рыцарь? Где он отстал?

Иду обратно и снова ныряю внутрь «Руаяль». Воздух – хоть топор вешай. Густой, нарезанный пластами.

Так где же Томсен?

Томсен должен быть еще здесь. Не мог же он так просто взять и уйти.

Ногой я распахиваю дверь в клозет. Только не браться за медную ручку.

Вон он лежит. Вон распластался Томсен, на правом боку в большой луже желтой мочи. Рядом с его головой – месиво блевотины, запрудившей мочесток в канавку. На сточной решетке вторая кучка блевотины. Правой щекой Томсен погрузился в мутно-желтую жижу. У рта его то и дело вздуваются и лопаются пузыри, поскольку он издает какие-то звуки. Его Рыцарский крест тоже плавает в моче. Я разбираю звуки, вырывающиеся из его горла: «Бороться до полной победы или погибнуть! До полной победы – или погибнуть!»

Меня самого начинает мутить. Тошнота подступает к горлу.

– Давай вставай! – выдавливаю я и хватаю Томсена за лацканы. Не желаю, чтобы ядовито-желтая моча попала мне на руки.

– Захоти меня… захоти меня… захоти меня сегодня вечерком… да, да, да, трахни меня как следует, – лепечет Томсен.

Появляется Старик. Мы приподнимаем и ставим Томсена на колени и локти. Наполовину неся, наполовину волоча, подтаскиваем его к двери клозета. Мутно-желтая жижа стекает и с его лица. Мундир с правого бока полностью промок.

– Давай просунь руку!

Но я вынужден оставить Томсена. Несусь обратно в клозет. Ужасный позыв извергает из моего желудка на кафельный пол все, что в нем было. Конвульсивные спазмы сотрясают меня. Слезы проступают на глазах, ладонями я опираюсь на кафельную стену. Левый рукав задирается. Я вижу циферблат своих часов. Проклятье! В шесть тридцать машина отправляется в порт.

Выход в море

В порт ведут две дороги. Командир выбирает ту, что длиннее, которая идет вдоль берега.

Жадно разглядываю все, что проплывает мимо нас. Зенитные батареи под пятнистой маскировкой в серой предрассветной мгле. Признаки штаб-квартиры: огромные буквы и таинственные геометрические фигуры. Валы из дрока. Пара пасущихся коров. Скособочившаяся деревенька. Рекламные щиты. Полуразрушенные хлебопекарные печи. Два коня-тяжеловоза, ведомые в поводу. Поздние розы в одичавших садах. Серые пятна домов.

Мне постоянно приходится моргать, поскольку табачный дым ест глаза. Первые следы бомбежек: разрушенные дома, предвещающие приближение к порту. Груды металлолома. Выгоревшая на солнце трава. Проржавевшие канистры. Автомобильное кладбище. Искривленные ветром засохшие подсолнухи. Серое белье на веревках. Наполовину разбитый постамент какого-то памятника. Группы французов в беретах. Колонны грузовиков «Тодта». Дорога спускается в пойму реки. В низине все еще висит плотный туман.

Усталая кляча в серой дымке в двуколке с колесами в человеческий рост. Дом с глазурованной черепицей. Когда-то застекленная, теперь – с выбитыми стеклами веранда, жалкий металлический каркас. Гаражи. Парень в синем фартуке

в дверном проеме, мокрый окурок прилип к пухлой нижней губе.

Лязг вагонных буферов. Запасные пути. Разбитый вокзал. Все серое. Бесчисленные оттенки серого: от грязного белесо-гипсового цвета до желтовато-пепельного. Пронзительные свистки сцепщиков вагонов. Песок хрустит у меня на зубах.

Французские рабочие по верфи с черными, примитивно сшитыми сумками через плечо. Удивительно, что, несмотря на многочисленные воздушные налеты, они все еще остаются здесь.

В пятнах сурика полузатопленное судно. Вероятно, старая рыболовецкая посудина, переоборудованная под брандвахту или нечто подобное. Погрузчик с мощными подводными обводами на кладке бревен. Женщины с могучими задами в изношенных комбинезонах держат клепальные молотки как автоматы. Пунцовый огонь походной кузницы сквозь серое молоко тумана.

Портальные краны на ногах-циркулях все еще стоят – вопреки длительным налетам авиации. Воздушные волны от взрывов не находили никакого сопротивления в паутине их конструкций.

Наша машина уже не способна преодолеть хаос путей. Клубок искореженных рельсов. Последнюю пару сотен метров до бункера мы вынуждены бежать. Четыре закутанных силуэта гуськом в тумане: командир, стармех, второй вах-

тенный офицер и я. Командир идет согнувшись. Взгляд его устремлен на дорогу. Поверх поднятого воротника кожаной куртки почти до заляпанной белой фуражки намотан шарф. Правую руку он засунул глубоко в карман куртки, левой же цепляется за куртку только большим пальцем. На сгибе левой руки у него болтается пухлая парусиновая сумка. Его широкий шаг из-за грубых рыбацких сапог с толстой пробковой подошвой становится тяжелым.

Я следую за командиром в двух шагах. За мной идет механик. У него неровная, танцующая походка. Через рельсы, которые не сбивают командира с ритма, он перепрыгивает короткими пружинистыми прыжками. На стармехе не кожанка, как на нас, а серо-зеленый комбинезон: слесарь, нахлобучивший офицерскую фуражку. Свою сумку он аккуратно несет за ручку.

Замыкающим идет второй вахтенный офицер, самый маленький из нас. Из его невнятного разговора с механиком улавливаю, что он опасается, как бы из-за тумана подлодка не смогла выйти в установленный срок. В клубящемся тумане не чувствуется ни дуновения ветерка.

Мы идем по местности, испещренной кратерами, в глубине каждой воронки, словно густая каша, кипит туман.

Второй вахтенный держит парусиновую сумку, точно такую, как и у нас с командиром, под мышкой. Там должны лежать всякие мелочи для похода: большая бутылка одеколона, шерстяное белье, корсет, вязаные перчатки и пара рубашек.

Рыбацкий свитер я надел на себя. Непромокаемая одежда, рыбацкие сапоги и индивидуальное спасательное средство уже на борту. «Лучше всего брать черные рубашки», – посоветовал старший штурман и авторитетно пояснил, что черные не так пачкаются.

Первый вахтенный офицер и помощник механика со всем экипажем уже на борту, готовят лодку к выходу.

Над западной частью порта небо все еще завешено предрассветными тенями. Но на востоке, за черными силуэтами стоящих на якоре грузовых судов, над рейдом уже пробиваются к зениту бледные лучи. Неверный сумеречный свет придает всем предметам двойственный необычный облик: скелеты кранов, вскинувшиеся по обе стороны оголенного строя холодильников над понурыми крышами складов, будто черные подарки для каких-то исполинских плодов. Из-за толевых крыш выступают мачты судов, среди которых клубится белый пар и поднимается маслянисто-черный дым.

Штукатурка боковой стены одного наполовину разбомбленного жилого дома изъедена и уже отваливается большими кусками.

Ночью иней, как плесень, покрыл штабеля досок и руины, еще не разобранные после последнего авианалета.

Дорога переулком пробирается между развалин. Вместо лавочек и забегаловок, некогда облеплявших улицы, кое-где над слепыми окнами сохранились лишь разбитые вывески. Выгоревшие металлические конструкции какого-то цеха за-

вернулись внутрь гигантским железным чертополохом.

Навстречу нам движутся грузовики – колонна с песком на строительство шлюза в бункер. Ветер, поднятый ею, гонит бумажные мешки из-под цемента и облепляет ноги командира и стар-меха. От взвихренной белесой строительной пыли у нас на мгновение перехватывает дыхание, и она мукой осыпается на наши сапоги. Две-три разбитые автомашины с номерами вермахта задрали кверху свои колеса. И снова обуглившиеся балки и сорванные крыши – будто палатки, разбросанные среди перекореженных рельсов.

– Опять тут отлично похозяйничали, – бурчит командир.

Механик воспринимает это как ценное сообщение и торопливо догоняет нас.

Тут командир останавливается, зажимает парусиновую сумку между колен и неспешно выуживает из своей кожанки обкусанную трубку и старую несуразную зажигалку. Пока мы, дрожа от холода и полусогнувшись, окружаем его, Старик степенно раскуривает уже набитую трубку. Теперь за ним, как за паровым буксиром, тянется белесый табачный дым. Время от времени он на ходу полуоборачивается к нам. Его лицо перекашивает угрюмая гримаса. Глаз под козырьком фуражки вообще не видно.

Не вынимая трубки изо рта, он хриплым голосом спрашивает механика:

– Перископ в порядке? Мутную оптику поменяли?

– Так точно, господин каплей. Пару линз очистили от от-

ложений. Видать, из-за воздушных налетов.

– А отказ рулевого управления?

– Все отрегулировано. В кабельпроводе к электродвигателям нашли обрыв. Потому и был слабый контакт. Мы проложили новый кабель.

Теперь после дощатых заборов тянется длинная цепочка вагонов. За последним из них дорога пошла наискось через пути, затем по замусоренной, сильно разбитой грузовиками колее.

Испанские кавалеристы у ограждений из колючей проволоки охраняют проход. Часовые стоят с поднятыми воротниками, лица спрятаны, – какие-то призрачные видения перед контрольно-пропускным пунктом.

Внезапно воздух наполняется металлическим скрежетом. Потом звук внезапно прерывается, и повисает нарастающий пронзительный свист сирены – зримо, как облако пара в стыло-влажном, пахнущем смолой, нефтью и дохлой рыбой ветре.

Вот уже снова раздаются металлические удары. От этого воздух становится тяжелым и плотным. Мы на территории базы.

Слева разевает пасть огромная шахта. Длинные составы думпкаров исчезают в молочной мути. Невидимые для нас, они ездят вокруг, громыхая и шипя.

– Тут повсюду еще скрыты бункеры! – говорит Старик.

Теперь дорога вывела на пирс: омертвелая вода под клу-

бами тумана. Корабли стоят столь плотно друг подле друга и друг за другом, что глаз не в состоянии различать их корпуса. Сильно потрепанные, покрытые солью рыболовецкие суда, теперь служившие брандвахтами, такие поразительные калоши, как лихтеры, нефтеналивные баржи, соединенные по три в ряд катера портовой охраны – «блошиная флотилия», – все это плебейское сборище убогих, изношенных портовых посудин, которые теперь приписаны к каждой гавани.

Стармех тычет рукой в туман:

– Вон там, впереди правее на шестиэтажном доме стоит машина!

– Где это?

– Вон за фронтоном пакгауза – тем самым, который без крыши!

– Вот это да, как она попала туда?

– Позавчера при авианалете на бункеры. Сверху валились настоящие тумбы. Я видел, как эта колымага вспорхнула и приземлилась на крышу – прямо на колеса!

– Цирк!

– И как оттуда в момент исчезли все французы, просто непостижимо…

– Какие еще французы?

– Да там же весь пирс усыпан рыбаками. Прямо перед въездом в первый бокс постоянно удят. Их оттуда было просто не выгнать.

– И видно, наблюдали для томми, какие лодки выходят в

море, а какие возвращаются – с точным временем!

– Теперь-то уж не будут. При сигналах воздушной тревоги они остались сидеть, как сидели. Человек двадцать или тридцать. И тут одна такая колода грохнулась точно на пирс.

– Бункер тоже разворотило.

– Да, прямым попаданием, но бомба его не пробила – все-таки семь метров железобетона!

Листы железа прогибаются под нашими ногами и снова распрямляются с грохотом. Где-то локомотив издает пронзительный болезненный вопль.

Из-за размеренно поднимающейся и опускающейся фигуры командира начинает постепенно вырастать заслоняющий все бетонный забор. Его продолжение теряется во мгле. Мы приближаемся к сплошной стене без карниза, дверей и оконных проемов. Она напоминает мощный фундамент какой-то башни, которая должна подниматься выше облаков. Лишь немного выступают семь метров подушки – немалая ноша. Выглядит будто она вдавила все строение в землю.

Нам приходится огибать бетонную колоду – через железнодорожные ветки, штабеля досок и толстые трубопроводы. Наконец обнаруживаем бронированные ворота в боковой стене.

Из внутреннего полумрака на нас обрушивается дробный бешеный грохот клепальных молотков. Стук на мгновение прекращается, но тут же звонкие удары возобновляются и сгущают яростный грохот.

В бункере царит полумрак. Лишь через шлюзы из акватории порта в бетонные пещеры проникает бледный свет. Подлодки пришвартованы в боксах парами. В бункере двенадцать боксов. Некоторые из них построены в виде доков. Боксы отделены друг от друга мощными бетонными стенками. Вход в бокс может запираться опускающейся стальной переборкой.

Пыль, дым, смрад из выхлопных патрубков. Шипят ацетиленовые лампы, шумят воздуходувы, кругом треск и завывание. То там, то здесь вспыхивают огоньки газовых резаков.

Мы идем гуськом по широкому бетонному пандусу, под прямым углом к бассейну, проходящему через весь бункер. Нам приходится быть чертовски внимательными. Кругом навалены громоздкие приспособления. Под ногами путаются кабели. Железнодорожные вагоны преграждают путь. К вагонам прижались грузовики. В них на специальных подставках лежат серебристо поблескивающие торпеды или демонтированные орудия и зенитки. И повсюду шланги, канаты, тросы, груды маскировочных сетей.

Слева пробивается теплый желтоватый свет из окошек мастерских: столярок, кузниц, торпедных, артиллерийских и оптических. Под бетонным покрывалом разместилась целая верфь.

Командир оборачивается. Огонек сварки освещает его лицо неровными голубыми вспышками. Ослепленный, он щурит глаза. Только когда шум на мгновение ослабевает, он

кричит механику:

– В доке проводился дополнительный осмотр?

– Да. Винт правого борта – погнута лопасть!

– Ага, вот откуда этот звук на ходу по инерции!

– Новый винт, у нас совершенно новый винт, господин каплей!

– Бесшумный?.. Горизонтальные рули… исправны?

– Так точно… передачи… развал… отрегулировано… рулевое… ржавые места… шестеренчатый привод… все в порядке!

В боксах справа стоят аварийные. Искореженные подлодки, покрытые пятнами ржавчины и сурика. Запахи ржавого металла, свежей краски, мазута, отработанной кислоты, горелой резины, бензина, морской воды, тухлой рыбы.

За боксами идут сухие доки. С раскрытым днищем, словно выпотрошенный кит, глубоко внизу в доке лежит подлодка. Там копошится целый муравейник судостроительных рабочих – карлики, словно насекомые вокруг дохлой рыбины. Газовыми резаками вырезают целые куски внешней обшивки корпуса. Искореженный, в зазубринах корпус высвечивается в сполохах огня. Из внутренностей подлодки наружу свешиваются толстые пучки шлангов пневматических молотков и электрические кабели. Кишки и зонды. Округлый цилиндр прочного корпуса вскрыт по всей длине носового отсека. Обнажен в районе дизельного отсека. Из глубины лодки струится желтый свет. Я заглядываю внутрь под-

лодки: мощные блоки дизелей, переплетение шлангов и трубопроводов. Вот крюк крана зависает над кораблем. Стропится новый груз. Такое впечатление, будто лодку собираются полностью выпотрошить.

– Страшно же ее глушили глубинными бомбами! – произносит стармех.

– Просто чудо еще, что они сумели прийти на разбомбленной лодке.

Командир направляется к бетонным ступенькам в сухой док. Ступеньки залиты мазутом, кабели в резиновой оплетке толстыми пучками змей сползают по лестнице.

Опять пламя сварки зашипело из темноты, выхватив из полумрака часть балластной цистерны. Еще дальше в доке теперь полыхают факелы сварки, отбрасывая неверный свет на всю лодку. Это непривычные глазу энергичные формы надводного корабля: от уплощенных бортов словно плавники вытягиваются носовые горизонтальные рули, в середине корпус корабля вспучивается. Толстые наросты выгибаются справа и слева от днища корабля – були с балластными цистернами. Они приварены к лодке словно подушка. Все округло-пузато: со всех сторон герметичное существо морских глубин, построенное по особым законам. Шпангоуты здесь – цельные кольца.

Со стороны носа движется стальная плита, открывая темную щель. Плита продолжает медленно отодвигаться, и становится видно огромное отверстие. Оно разевает зияющую

пасть: наружная крышка торпедного аппарата.

Двое рабочих сквозь грохот пневматических молотков пытаются объясниться размашистыми жестами.

Крышка торпедного аппарата снова задвигается.

– Выглядит хуже, чем есть на самом деле. Прочный корпус… отлично… все в порядке! – кричит Старик.

Я чувствую, как меня взяли за локоть. Стармех стоит рядом со мной, закинув голову. Он глядит вверх на днище подлодки.

– Впечатляет, верно?

Сверху наблюдает часовой с автоматом на плече.

Через штабель бревен перебираемся дальше вглубь. Уже отчетливо вырисовываются очертания лодки – вытянутого стального цилиндра. Он хранит в своих недрах дизеля, аккумуляторы и жилые отсеки экипажа. Этот стальной цилиндр со всеми своими внутренностями почти так же тяжел, как вытесняемая им вода. Это подлодка типа VII–C, как и наша. Я припоминаю: длина 67,1 метра. Ширина 6,2 метра. Водоизмещение в надводном положении 769 кубометров и 871 кубометр под водой – весьма незначительное различие: ведь у подлодки очень мало выступающих над водой надстроек. Осадка в надводном положении 4,8 метра – расчетная величина, поскольку в действительности осадка меняется. Такая осадка соответствует водоизмещению в 600 тонн в надводном положении.

Помимо нашего типа существуют еще подлодки серии II с

надводным водоизмещением в 250 тонн и серии IX–C с надводным водоизмещением в 1000 тонн и 1232 тонны подводным. VII–C – лучшие боевые подлодки для операций в Атлантике. У них большая скорость погружения и высокая для лодок маневренность. Дальность плавания в подводном положении достигает 7900 морских миль при ходе в 10 узлов, 6500 миль при ходе в 12 узлов. В подводном положении – 80 миль при скорости 4 узла. Максимальная скорость 17,3 узла в надводном положении и 7,6 узла в подводном.

– Его долбанули в корму. Протаранил тонущий пароход! – кричит мне стармех в самое ухо.

Повсюду на штативах пылают юпитеры. Углубленные площадки усыпаны корабелами. Ничего страшного: речь идет о повреждениях легкого корпуса, а он ведь не предназначен для сжатия.

Собственно из самого цилиндрического тела лодки, прочного корпуса, можно увидеть только кусок в середине подлодки. К корме и носу прочный корпус облицован тонким легким корпусом, который вздувшуюся глубоководную рыбину, когда та всплывает на поверхность, выдает за глубоко сидящее надводное судно. По всей длине лодки в легком корпусе прорезаны отверстия (шпигаты) и клапаны вентиляции, чтобы при погружении вода могла заполнить пространство между собственно прочным и легким корпусом, иначе на глубине давление воды смяло бы тонкую оболочку, как картон.

С помощью бортовых цистерн плавучести, а также уравнительных цистерн совершенно точно регулируется вес лодки. Системой цистерн, расположенных частью снаружи, частью внутри прочного корпуса, подлодка в надводном положении может удерживаться в воде на надлежащем уровне. Топливные цистерны также расположены вне прочного корпуса.

На нижней стороне одной балластной цистерны я разглядел за-хлопку кингстонов, которые всегда открыты при плавании в подводном положении. Балластные цистерны удерживают подлодку на поверхности словно воздушные подушки. Когда через шпигаты, расположенные сверху на балластных цистернах, воздух выходит, вода снизу устремляется через открытые захлопки кингстонов. Плавучесть уменьшается, подлодка погружается.

Мой взгляд бродит по лодке: толстый нарост – цистерна для топлива. Отверстия в нем – заборники холодной забортной воды для охлаждения дизелей. Где-то здесь должны располагаться цистерны плавучести. Они так же герметичны, как и уравнительные цистерны.

Рабочий как сумасшедший колотит по паре заклепок.

Командир уже давно ушел на корму. Правой рукой он указывает вверх: гребные винты лодки полностью загорожены деревянными лесами.

– Их давно уже должны были убрать, – бормочет Старик.

– Гребной вал… получили… новые бакаутовые подшип-

ники, – кричит стармех, – возможно… шум… следствие бомбежек глубинными бомбами!

Прямо над винтами крышки кормового торпедного аппарата. На половинной высоте из боковых выпуклостей распластались плоскости кормовых горизонтальных рулей, словно укороченные крылья самолетов.

Заляпанный краской парень чуть не сбивает меня с ног. У него огромная кисть на длинной рукоятке от метлы. Пока я жду Старика, он начинает снизу красить днище лодки: темно-серый цвет.

Когда мы добираемся до заполненного водой шестого бокса, командир снова уклоняется от маршрута и идет к пришвартованной у правого пирса подлодке.

– Лодка Крамера, получила прямое попадание авиабомбы! – говорит стармех.

У меня все еще звучит в ушах история Крамера: «Только всплыли, как вижу заходящий самолет. Бомбовый люк разверзается, вываливается бомба и падает точно на мостик. Я отпрянул – в страхе, что попадет в меня. Эта штуковина действительно грохнулась рядом с ограждением ходового мостика, но чуть боком, не головкой. Вместо того чтобы сдетонировать, она просто разлетелась на куски. Раскололась – или как там это называется!»

Командир рассматривает ограждение рубки с кормы и носа, причудливо закрученные полосы, которые бомба вырвала из обшивки, пробитый волноотбой. Неряшливо закутанный

часовой из экипажа подлодки подходит и приветствует.

– Ему бы, собственно, следовало уже добрую неделю порхать в белоснежном хитоне, – говорит стармех.

Бассейн восьмого бокса также заполнен водой. Черные блики дрожат и скачут по воде.

– Наша лодка, – говорит стармех.

В полутьме бункера она почти не выделяется на воде. Но на фоне светлой стенки бункера над низким пирсом отчетливо вырисовываются ее выступающие контуры. Верхняя палуба поднимается над маслянистой водой не более чем на метр. Все люки пока еще открыты. Взглядом прохожусь по всей длине субмарины, словно стараясь запечатлеть ее облик на веки вечные. Все линии, деревянный настил верхней палубы, плоско и без какого-либо уступа стремительным движением переходящий в нос, турель с неуклюже задранной кверху зенитной установкой, слегка заваленная корма, уходящие наискось от ходовой рубки на нос и корму стальные растяжки антенны с вплетенными зелеными изоляторами. Все крайне упрощенно. Подлодка серии VII–C, с отличными мореходными качествами, как ни одно другое судно.

Ловлю кривую ухмылку командира: словно владелец лошади перед скачками.

Подлодка снаряжена. Ее цистерны заполнены соляром и пресной водой – разумеется, для похода. И тем не менее лодка не вибрирует и не урчит высокими тонами готового к выходу в море корабля: дизеля еще не запущены, хотя шварто-

вая команда в грубых перчатках уже стоит по расписанию.

– Проводы состоятся в шлюзе, – говорит командир, – со всеми полагающимися идиотскими прибамбасами. Команда построилась за рубкой. Без малого пятьдесят человек. Восемнадцати-, девятнадцати-и двадцатилетние. Только фельдфебели и унтер-офицеры на пару лет старше.

В полумраке я не могу прочитать много на их лицах. Отчетливо выкрикиваемые имена не запоминаю.

Верхняя палуба скользкая от тумана, вплывающего через затвор бункера. Серовато-белый отблеск тумана так слепит глаза, что очертания выходного затвора расплываются. Вода в бассейне почти черная и густая, как нефть.

Первый вахтенный офицер рапортует:

– Команда, за исключением вахтенного центрального поста Беккера, в полном составе. Машины, нижняя и верхняя палубы к выходу в море готовы!

– Благодарю! Хайль UA!

– Хайль, господин каплей! – перекрывая шум двигателей, гулко прокатывается по боксу.

– Равнение на середину! Вольно! Разойдись!

Командир ждет, пока топот не прекратится.

– Вам известно, что Беккер погиб. При бомбежке Магдебурга. Беккер был хорошим человеком… Такие вот дела… За весь последний поход у нас не было никаких потерь.

Долгая пауза. У Старика появляется брезгливое выражение.

– Ну да ладно – это не наша вина. Но все равно предельное внимание, чтобы и на этот раз удача была с нами. Чтоб ушки на макушке!

На лицах людей появляется улыбка.

– Разойдись! – приказывает командир.

– Замечательная речь, – бормочет стармех, – недурно!

На узкой длинной верхней палубе кругом еще лежат кранцы, тросы и новые швартовы. Из открытого камбузного люка вьется ароматный парок. Появляется голова кока. Я спускаю ему свои вещи.

Беззвучно выдвигается перископ. Циклопический глаз поворачивается во все стороны, он поднимается на всю высоту серебристо отсвечивающей мачты, потом вновь опускается и исчезает. Я карабкаюсь на ходовую рубку. Краска еще не просохла как следует и пачкает руки. Грузовой торпедный люк на верхней палубе уже задраен.

На корме теперь задраивается и камбузный люк. Отныне единственным ходом в лодку остается рубка.

Внутри лодки дикая суматоха. Никуда не пробраться, чтобы тебя не придавили и не толкнули. Подвесные койки, набитые хлебом, болтаются под подволоком. Повсюду в проходах ящики с продуктами, штабеля больших консервных банок, мешки. А куда же денут вещи, которые еще не загружены? Такое впечатление, что забит каждый уголок.

От провизионных – обычно на судах просторных, – как и от умывальных, конструкторы нашей лодки отказались на-

прочь. Они встроили механизмы даже в торпедные аппараты и решили, что и при самом тщательном размещении хитросплетений множества трубопроводов и огромных силовых установок и множества вспомогательных механизмов и вооружения все равно неизбежно останутся неиспользованные закоулки и щели: место для размещения команды.

Подлодка брала на борт четырнадцать торпед. Пять в торпедных аппаратах, две в отсеках верхней палубы, остальные под настилом в носовом отсеке. Вдобавок 120 выстрелов для 88-миллиметровой пушки и большое количество зенитных боеприпасов.

У старшего штурмана и боцмана, номера первого по судовому расписанию, хлопот полон рот. Номер первый на борту исполняет роль старшины. Крупный парень по фамилии Берман выше многих на целую голову. Я уже знаю его: «… О резвая козочка гну, я сердце твое разобью!»

Еще полчаса до отхода. У меня есть время, чтобы оглядеться в машинном отсеке – старая любовь, машинные отделения на готовых к выходу судах. Но сначала захожу в центральный пост. Вокруг меня трубы, вентили, маховики, манометры, вспомогательные механизмы, переплетение маркированных зеленым и красным трубопроводов. В полумраке я различаю указатель положения руля, электрический и механический. Почти все приборы дублированы – для надежности. Над указателем рулей глубины с кнопочным включателем для электрического управления я сумел

еще обнаружить и указатели дифферента, приблизительный и точный. Глубиномер Папенберга, между кругляшками стекол манометра глубины со стрелочными циферблатами, выглядит как большой термометр. Он показывает глубину при ювелирном управлении для наблюдения в перископ с точностью до десяти сантиметров.

Центральный пост отделяют сферические кормовые и носовые водонепроницаемые переборки, которые благодаря своей форме полушария выдерживают большее давление, нежели плоские. Обеими сферическими переборками подлодка разделена на три отсека.

От этого нам не слишком много пользы, поскольку, если один из отсеков будет затоплен, подлодка потеряет плавучесть. Конструкторы при своих расчетах больше держали в голове мелководные моря вроде Балтийского.

Передний отсек в качестве аварийного выхода имел торпедные аппараты, кормовой – камбузный люк.

Машинный отсек, моя цель, расположен за камбузом.

Все переборки не задраены.

С трудом через ящики и мешки я пробираюсь в корму через унтер-офицерское помещение, где мне предстоит спать, и далее через камбуз, который также еще не прибран.

Наше машинное отделение несопоставимо с машинными отделениями больших судов с их высокими залами, которые нередко проходят через все судно, сверху донизу, с многочисленными палубами мерцающих колосников и лосня-

щимися стальными трапами с одной палубы на другую, горящей медью и блестящими болтами, с переплетением толстых, словно руки в гипсовых повязках, изолированных трубопроводов, идущих к турбинам высокого и низкого давления. Здесь же это тесная пещера, в которой оба мощных дизеля со всеми их вспомогательными механизмами вынуждены найти себе приют, словно напружинившиеся звери. Вокруг них также используется каждый свободный уголок среди хаоса трубопроводов: водяной насос охлаждения, масляный насос, масляный сепаратор, пусковые баллоны со сжатым воздухом, топливный насос. Вдобавок манометры, термометры, виброметры и другие всевозможные приборы.

У каждого из дизелей по шесть цилиндров. Оба развивают мощность в 2800 лошадиных сил.

Когда люки водонепроницаемых переборок задраены, переговорные устройства – единственное средство связи с центральным постом. Во время боя настил здесь, в узком проходе между двумя мощными дизелями, особенно раскален, потому что в дизельном отсеке расположено большинство забортных задраек, самых уязвимых мест прочного корпуса.

У обоих старших мотористов дел все еще по горло. Иоганн – тихий, очень бледный и чрезвычайно общительный блондин с ввалившимися щеками. У него спокойный взгляд на почти безбородом лице и выражение покорности судьбе, производящее жалкое впечатление. Другой, Франц, – коренастый, темноволосый и бородатый. У него очень землистый

цвет лица, и держится он весьма подобострастно. Он производит впечатление угрюмого человека.

Поначалу я решил, что они представились по именам. Теперь знаю, что Иоганн и Франц – их фамилии. Иоганна зовут Август, а Франца – Карл.

Дальше к корме расположен отсек электродвигателей. Они питаются от аккумуляторных батарей, которые, в свою очередь, подзаряжаются дизелями. Электромоторы имеют мощность в 750 лошадиных сил. Здесь все закрыто кожухами, чисто и холодно, как на какой-нибудь обычной электростанции.

Из отсвечивающего серебром настила вздымаются корпуса электромоторов, которые в подводном положении переключаются на гребные валы и очень редко используются наверху. С обеих сторон распределительные щиты с черными тумблерами и куча амперметров, ваттметров и реостатов. Электродвигатели работают без воздуха. Это двигатели постоянного тока, которые без всяких передач установлены сразу за дизелями на гребном валу. В надводном положении, когда дизеля работают, они также вращаются и служат генераторами для подзарядки аккумуляторных батарей. В конце отсека расположена задняя крышка кормового торпедного аппарата. Слева и справа от него оба компрессора, продувающие воздухом балластные цистерны.

Я пробираюсь обратно в центральный пост и карабкаюсь наверх.

Ахтерштевнем[10] вперед подлодка на электродвигателях вытягивается из бункера и попадает в перламутровое сияние, отчего влажная палуба засверкала словно стеклянная. «Тайфун», наш ревун, глухо взревел. Один, второй раз. Какой-то буксир откликается еще более низкой сиреной. В рассеянном туманом свете я вижу, как он, словно вырезанный из черного картона, скользит мимо. Второй буксир тяжело и грузно пробирается мимо нас так близко, что я могу разглядеть ряд автопокрышек, которые он вывесил за бортом вместо кранцев, как викинги свои щиты. Кочегар высунул перемазанную рожу из иллюминатора и что-то кричит нам, но неожиданный вскрик нашего ревуна не позволяет расслышать его.

Командир сам отдает команды в машинное и рулевому. Он вылез за рубочный фальшборт – так он при сложном маневрировании в тесноте порта может видеть всю лодку от носа до кормы.

– Левая – стоп… Правая – самый малый вперед… Лево на борт!

Метр за метром подлодка осторожно пробирается сквозь туман. Все еще холодно.

Форштевень прокладывает путь сквозь ряды судов, плотно стоящих друг за другом. Это маленькие посудины – суда портовой охраны, среди них один дозорный корабль.

Вода порта все сильнее разит соляром, нечистотами и во-

[10] Ахерштевень – кормовая часть любого корабля и судна.

дорослями.

Теперь из клубов тумана вырастают одинокие мачты пароходов, затем лес грузовых стрел. Черная паутина кранов напоминает буровые какого-нибудь нефтеносного района.

Рабочие, спешившие по перекидному мосту в район верфи, по плечи были скрыты ржавыми боковыми стенками: процессия отделенных от тела голов.

На востоке над влажными серыми крышами в молочном тумане постепенно появляются розовые всполохи. Большой квартал зданий медленно отодвигается в сторону, и внезапно между арматурой одного из кранов вспыхивает, бодро приплясывая, солнечный мячик – лишь на мгновение, затем жирный дым, выбрасываемый буксиром, волокущим глубоко сидящие баржи с песком и углем, заволакивает его.

Меня трясет на сыром ветру, и я задерживаю дыхание, чтобы не наглотаться удушливого дыма.

На шлюзовом пирсе собралась уйма народа: рабочие верфи в промасленных комбинезонах, матросы, пара офицеров флотилии. Я вижу Грегора, которого вчера вечером не было, Кортмана, «сиамских близнецов» Купиша и Штакмана. Конечно же здесь и Труман, и выглядит он совершенно нормально, без каких-либо следов ночной попойки. За ним я обнаружил Пня Замшелого и Бехтеля, у которого застряла глубинная бомба на верхней палубе, и Крамера, получившего авиабомбу. Явился даже хвастун Эрлер, окруженный толпой девиц с цветами в руках. А вот Томсена нет.

– Когда я еще увижу этих безмозглых потаскух, – слышу рядом моряка, который только что смотал в бухту конец, которым на пирс был заведен швартов.

– Приятель, плюнь на эти глупые рожи, – слышу я второго.

– Вон третья слева, та малышка, я ее валял!

– Соврешь – вторую жизнь проживешь.

– Честное слово. Говорю тебе!

За кормой по левому борту вдруг высоко вскипает вода. Потоки пены бурлят вокруг лодки: продувается первая балластная цистерна, пока полностью не заполняется воздухом. Сразу вслед за этим вспучивается пеной вода вдоль бортов: продуваются один за другим балластные цистерны – наша верхняя палуба приподнимается.

Артиллеристу, который сверху кричит «Вот такие вам толстые пароходы!» и широко разведенными руками изображает из себя хвастливого рыбака, один из наших на верхней палубе показывает язык. Двое-трое переругиваются, другие смеются или корчат рожи. Они нервничают – всем тяжело.

И вот действительно уже наступает пора отходить. Командир, офицеры и весь личный состав на борту. Тому матросу, погибшему в Магдебурге, пришла замена: тонкошеий восемнадцатилетний паренек с землистым лицом.

Прилив начался еще час назад. Теперь мы можем спокойно пройти через шлюз.

Наши морячки на верхней палубе начинают представлять балаган: дескать, как они рады-радехоньки, что наконец-то

отправляются в поход. А те, на пирсе, изображают, будто страшно завидуют: у вас будет веселенькая прогулка! Вы идете на врага! Заработаете себе ордена, а мы, бедолаги, вынуждены на суше в этой поганой Франции пробавляться погаными девками!

Я потягиваюсь в еще жесткой кожаной куртке. Вот так и стою, засунув руки в карманы кожаного реглана на войлочной подкладке, полы которого достают мне до колен. Тяжелыми рыбацкими сапогами с утепленными пробкой подошвами я притопываю по решетчатому настилу.

Старик, ухмыляясь, спрашивает:

– Не терпится?

Парни из музкоманды в стальных касках смотрят на нас пустыми, отсутствующими взглядами.

Один верзила из второго ряда уже раз в пятый облизывает мундштук своего фагота, словно это леденец.

Пока он облизал весь свой фагот, секунда превратилась в вечность.

Тут дирижер в сапогах с короткими голенищами поднимает свою палочку, и медь духовых инструментов вспыхивает, – еще несколько мгновений, и разговоры заглушаются первыми тактами и трубными раскатами оркестра.

Оба швартовых отданы.

Первая вахта становится по походному расписанию. Подвахтенные остаются на верхней палубе. Первый вахтенный офицер дает свисток к отходу. Командир ведет себя словно

это не касается его ни в малейшей степени. Он полностью отдается толстой сигаре. Труман наверху на пирсе также раскурил сигару. Оба отдают честь друг другу сигарами, удерживая их между указательным и средним пальцами. Первый офицер раздраженно отводит взгляд.

– Так где же Меркель? – бросает Старик вверх на пирс во время музыкальной паузы.

– Пока неизвестно.

– Ах ты, дьявол!

Старик, сощурившись, оглядывает небо. Потом выпускает густой клуб дыма, словно буксир.

– Отдать концы!

Солдаты на пирсе освобождают носовые и кормовые швартовы. Люди на верхней палубе выбирают их. При этом действуют они слаженно. Сказывается опыт семи походов.

– Левая машина – самый малый вперед, правая – малый назад! Обе машины – стоп! Отваливай!

Вот и шпринг шлепается в воду.

Наши кранцы шуршат вдоль выпуклого брюха внешнего бункера. Булькающий кипяток из-под винтов привлекает мой взгляд за корму.

Лодка отсоединилась от пирса, мрачный паром в маслянисто-черном Стиксе, с грузом закованных в кожу людей на зенитной платформе позади рубки. Не видно дымов, не слышно шума автомашин. Словно магнитом подлодку оттягивает от пирса.

Маленькие букетики цветов приземляются в ходовой рубке. Часовые вставляют их в воздухозаборники.

Темная полоса между серой сталью подлодки и стенкой пирса, измазанной нефтью, все увеличивается. Вдруг группа на пирсе приходит в движение. Кто-то протискивается сзади и ломает строй людей: Томсен! Он вскидывает обе руки вверх, его новый орден на шее сверкает, и он кричит через водную полосу: «Хайль UA!», а потом еще раз: «Хайль UA!»

Старик отвечает на приветствие взмахом сигары – непринужденно, как это умеет делать только он.

Теперь лодка медленно подвигается к входному бассейну, представление все больше отдаляется. Нос подлодки берет направление на открытое море.

Постепенно туман поднимается от воды. По черным стальным фермам одного из кранов солнце карабкается ввысь. Его пунцовый отсвет заливает всю восточную часть неба. Края облаков тоже пенятся розовым. Даже чайки окунулись в красное. Со сложенными крыльями они падают сквозь красный свет почти до самой воды и лишь в самый последний момент, громко крича, снова взмывают вверх.

И вот полотнища тумана вконец истрепались, и уже маслянистая вода запылала красным пожаром. Плавучий кран неподалеку выталкивает огромное облако пара. Солнце тотчас окрашивает его в пунцовые и оранжевые тона.

Небо быстро становится желто-зеленым, и облака прини-

мают блеклый сизо-серый цвет. Солнце поднимается все выше и выше и начинает ярко блестеть.

Мимо прошел позеленевший разбитый буй. По правому борту красные крыши Бадевилля прижимаются друг к другу и постепенно прячутся за желтые, сверкающие портовые стрелы.

Внезапно меня пронзает высокий, сдавленный звук. Следует жесткое, поющее бульканье. Палуба начинает вибрировать, клокотание становится звонче и обретает равномерный ритм: запустили наши дизеля. Словно подлодка только что по-настоящему очнулась от дремоты пребывания в порту.

Я кладу руки на холодное железо козырька рубки и чувствую живую вибрацию машин.

Море противится нашему выходу. Короткие, жесткие волны бьют в балластные цистерны. Оконечность мола постепенно проходит и отступает.

Мимо проползает грузовое судно: оно камуфлировано черно-серозелеными пятнами.

– Примерно шесть тысяч тонн! – говорит командир.

Буруна у форштевня нет, пароход стоит на якоре.

Теперь наш фарватер проходит так близко под берегом, что можно различить каждого рыбака. Солдаты машут нам.

Мы идем со скоростью медленно едущего велосипедиста. На землечерпалке развевается истрепанный трехцветный флаг. Буруны за кормой: значит, мрачный буксир идет малым ходом. Из толстых труб вырываются струи грязной

воды.

– Подготовить верхнюю палубу к погружению! – приказывает командир.

Кнехты, на которых крепятся швартовы, опускаются, багры принайтовлены, концы и кранцы убраны в полые пространства под решетками палубы. Моряки ключами подтягивают на верхней палубе все винтовые соединения, убирают флагшток, зачехляют пушки, подготавливают боеприпасы.

Номер первый зорко следит, чтобы все выполнялось тщательно: при охоте ничто не должно громыхать. Первый вахтенный офицер еще раз проверяет все. Потом докладывает командиру:

– Верхняя палуба к погружению готова!

Командир приказывает увеличить ход. Под решетками палубы вскипает пена, и брызги разбиваются о ходовую рубку.

Скалистый берег отступает. Темные тени все еще держатся в его ущельях. Зенитные батареи так хорошо замаскированы, что я с трудом обнаруживаю их даже с помощью бинокля.

Два дозорных судна, переоборудованные рыболовецкие сейнеры, теперь конвоируют нас, прикрывая от авиации.

Через некоторое время в голове становится тральщик, чтобы обезопасить нас от мин, большой корабль с камуфляжной окраской, забитый бочками и другими плавучими предметами. Его верхняя палуба ощерилась множеством зенитных установок.

– Вот работенка, – говорит старший штурман, – они стоят на таких штуках вроде трамплинов, чтобы не переломать себе кости, если вдруг наскочат на мину. Каждый день одно и то же: из гавани – в гавань, из гавани – в гавань, нет уж, спасибо!

Наша лодка точно держится в широкой пенящейся кильватерной струе тральщика.

Нахожу биноклем углубленную бухту Ла-Боле: лента лепящихся друг к другу игрушечных домиков. Затем я поворачиваюсь на корму: Сен-Назер теперь тонкая полоска, над которой выделяются только краны, словно задранные в небо иголки.

– Сложный фарватер, кругом лежат всякие обломки – вон верхушки мачт! Транспорт потопили штурмовики, бомба попала прямо в дымовую трубу. В отлив он обнажается… Вон еще затонувшее судно! Эта штука перед ним – сигнальный буй!

Когда северный берег поймы стал уже почти неразличим, старший штурман приказывает поднять дальномер. Он устанавливает прибор на защитный козырек и склоняется над ним.

– Эй, Якоб, посторонись немного!

Сигнальщик, наблюдающий за кормой по правому борту, отходит в сторонку.

– Что вы там пеленгуете? – спрашивает командир.

– Вон тот шпиль церкви – его уже едва видно – и вершину

скалы по правому борту!

Старший штурман тщательно наводит, затем считывает данные и передает их вниз.

– Последний пеленг по суше, – докладывает он.

У нас нет порта назначения. Наша следующая цель, которая гонит нас прочь с базы в просторы океана, – обозначенная двумя цифрами позиция в центре Атлантики.

Оперативный отдел командующего подводным флотом разбил морское пространство на мозаику подобных небольших оперативных квадратов. Это облегчает поддержание связи, однако мне, привыкшему к обычным координатам, мешает навскидку определить по карте наше местоположение.

В одиннадцать часов конвой отпустили. Дозорные корабли быстро отваливают. Тральщик описывает широкую дугу, развешивая по небу рваное, широкое полотнище черного дыма. Последний семафор с тральщика на подлодку.

Теперь старший штурман решительно наклоняется вперед всем телом, подносит бинокль к глазам и опирается локтями на ограждение рубки.

– Ну, Крихбаум, вот и опять! – говорит командир и скрывается в ходовой рубке.

Теперь лодка на своем курсе одна.

Один из сигнальщиков дотягивается до цветов в воздухозаборнике и выбрасывает их за борт. Они быстро исчезают в бурлящей струе за кормой.

Я вытягиваюсь, чтобы оглядеть лодку через ограждение рубки с носа до кормы.

Крупная зыбь идет нам навстречу. Нос снова и снова зарывается и вспарывает море словно лемех. Каждый раз вода, пенясь, взметается вверх, и колючие брызги, шипя, перелетают через рубку. Облизав губы, чувствую вкус Атлантики: солоно.

На голубом небосводе висит пара слоистых облаков, словно хлопья взбитого белка. Нос зарывается, выныривает, снова окунается, и вся палуба на несколько минут покрывается кипящей пеной. В водяной пыли солнце высвечивает цвета спектра, над палубой переливаются небольшие радуги.

Теперь море уже не бутылочно-зеленое, а темно-синее. Зыбь, белые полосы пены, словно мраморные прожилки, беспорядочно пробегают по синей поверхности. Когда на солнце на мгновение набегает облако, вода становится как темно-синие чернила.

За кормой широкая дорога молочно-белой воды: кильватерная струя, веером отбрасываемая нами, встречается с зыбью и сшибается с ней, высоко взметая белую гриву пены. Докуда хватает взгляд, сплетаются искрящиеся белые косы.

Уперев ноги в кронштейн перископа, я еще немного высовываюсь из ходовой рубки и отклоняюсь назад, опершись руками о леер ограждения. Чайки со сложенными крыльями носятся вокруг лодки, разглядывая нас остекленевшими глазами.

Рев дизелей все время меняется: он спадает, когда выхлопные патрубки, расположенные по бортам подлодки, погружаются в воду, и нарастает, как только они выныривают и выхлоп дизелей происходит беспрепятственно.

Командир снова поднимается наверх, сощуривается и прикладывает к глазам бинокль.

Впереди над самой водой, будто клок серой шерсти, висит облако. Командир пристально разглядывает его. Он так ловко пружинит ногами в такт движениям лодки, что ему не нужно держаться руками.

– Пора приниматься и за дело!

Командир приказывает увеличить ход и идти зигзагом. При каждой смене курса лодка ложится на борт. Кильватерная струя сначала выгибается направо, затем налево.

– Следить за появлением бурунов – район ненадежный! – И обращаясь ко мне: – Господа из конкурирующей фирмы обычно подстерегают нас здесь. Они ведь точно знают, когда мы выходим. Фокус – его им выполнить проще простого: они узнают от рабочих на верфи, уборщиц и шлюх, да и, в конце концов, могут просто наблюдать, когда мы выходим из шлюза.

Все чаще командир недоверчиво оглядывает небо. Со лбом в гармошку, со сморщенным носом, он нетерпеливо переминается с ноги на ногу.

– Здесь в любой момент можно ждать атаки самолетов! Они все больше наглеют!

Облака постепенно сгущаются. Теперь редко то там, то здесь проглядывают клочки голубого неба. Солнечный диск вспыхивает на краткие мгновения.

– Очень ненадежный, – повторяет Старик и бормочет из-под бинокля: – Лучше спуститься вниз… чтобы как можно меньше людей было наверху в случае срочного погружения.

Это касается меня. Я исчезаю из рубки.

Моя койка в помещении унтер-офицеров. Это место оказалось самым неуютным на борту. По нему чаще всего бегают. Кому нужно на камбуз, к дизелям или в отсек электродвигателей – все проходят здесь. При каждой смене вахты сменившиеся вахтенные дизелисты пробираются через это помещение с кормы, а новая вахта из центропоста. Каждый раз по шесть человек. И бачковым приходится продираться сквозь наше помещение с мисками и полными бачками. В действительности это не что иное, как узкий коридор с четырьмя койками справа и четырьмя койками слева. Прямо на проходе стоит намертво принайтовленный бак[11], столешница которого по бокам складывается вниз, как плоскости самолета на авианосце. Места с обеих сторон так мало, что мааты[12] во время еды вынуждены сидеть на нижних койках, вжав голову. Чтобы поставить табуретки, уже не хватает места. Когда во время обеда кому-то нужно пройти из машин-

[11] Здесь: стол для приема пищи.

[12] Маат – унтер-офицер флота.

ного отделения в центральный пост или из центрального в машинное, всякий раз вспыхивает злая перебранка.

Хотя прием пищи маатов устроен так, чтобы еда в носовом помещении, у фельдфебелей и за офицерским столом к тому времени, когда они садятся за бак, уже была окончена, то есть бачковым носового отсека уже больше не нужно идти на камбуз. Но все равно постоянно возникают помехи. Мое счастье, что мне не нужно питаться с унтер-офицерами. Для меня накрывают за офицерским столом.

На некоторых из коек спят по двое маатов. Я счастливый обладатель персональной койки.

Подвахтенные мааты еще должны устроиться в своих склепах. Двум дизелистам нужно в корму. Сразу же возникает давка. Мой бортик у койки, своего рода алюминиевая лесенка, откинут вниз и тоже мешает.

На моей койке еще лежат банки с консервами, упаковка с меховыми жилетами и хлеб. Подходит человек с непромокаемой одеждой, кожаной курткой, рыбацкими сапогами и спасательным жилетом. Совершенно новая, чудесная, тяжелая штука. На утепленной кожаной куртке еще ни одного залома. Сапоги на фетровой подкладке; но они достаточно просторны, чтобы надевать их на толстый носок.

Спасательное средство в темно-коричневой парусиновой сумке на «молнии». С иголочки, новое.

– Чистая декорация, – считает маат центропоста, – годится скорее только для Балтики!

– Зато вполне годится, когда дизеля навоняют, – говорит большой черноволосый парень с кустистыми бровями – Френссен, маат дизельного отделения. И все-таки спасательное средство имеет ценность в виде спасательного жилета. Стоит лишь слегка повернуть штуцер, как из маленького стального баллона сразу пойдет кислород.

Я кладу коричневую сумку в ногах. Для моего барахла есть крохотный шкафчик, недостаточный даже для того, чтобы поместить вещи первой необходимости. Потому пишущую машинку и фотокамеру я укладываю на койку между слегка сдвинутым матрасом и переборкой. Для меня самого остается места не больше, чем в подогнанном по росту футляре. До обеда мне еще хочется осмотреться, и через центральный пост я отправляюсь в нос.

Помимо маатов, у которых койки в унтер-офицерском помещении, все другие члены экипажа – включая командира и офицеров – ютятся в носовой части. Командир обитает прямо сразу за водонепроницаемой сферической переборкой центропоста. За зеленой шторой – койка, пара шкафчиков на переборке и у подволока и очень маленький письменный столик, собственно, доска для письма – вот и все. И командир должен всегда быть наготове. Отдельных кают по обеим сторонам коридора, как это водится на надводных кораблях, здесь нет ни у кого. Помещение командира – ближайшее к центральному посту. Радиорубка и пост акустика прямо напротив него.

За ними – далее вперед – офицерская кают-компания, которая одновременно служит и жилым помещением для стармеха, его помощника, нашего второго механика, для первого и второго вахтенных офицеров.

Матрас, на котором за едой сидят командир со стармехом, собственно и есть спальное место механика. Спальная вагонная лавка над ним, днем поднятая, – койка второго вахтенного офицера. Койки первого вахтенного офицера и второго механика – у противоположной переборки – самые завидные места, поскольку днем не убираются: первый вахтенный и второй механик в свободное от вахты время могут на них поваляться.

Принайтовленный к палубе бак задвигается из прохода к левому борту. Он рассчитан на четверых: командира, стармеха и двух вахтенных офицеров. Но мы будем сидеть вшестером. Помощник механика – номер пятый. Я – шестой.

В примыкающем помещении фельдфебелей, которое также отгорожено от офицерской каюты лишь шкафами, размещаются старший штурман Крихбаум, оба старших моториста Иоганн и Франц и боцман Берман. Под настилом расположена первая аккумуляторная яма, которая вместе с аккумуляторами второй ямы под помещением унтер-офицеров является нашим источником электроэнергии в подводном положении.

Носовой отсек отделен от помещения фельдфебелей обычной переборкой. Несмотря на пещерный вид, он больше

всего заслуживает названия помещения. Точнее говоря, он – комбинация места хранения и подготовки торпед и одновременно боевого поста. Потому «носовой торпедный отсек» – самое точное обозначение. Здесь обитает большинство команды. По каждому борту располагается шесть коек, по две друг над другом. В них спят морские специалисты, «лорды», а также торпедисты, радисты и мотористы.

У мотористов, поскольку они стоят шестичасовую вахту, одна койка на двоих. У других, поскольку они несут вахту втроем, по две койки на трех человек. Ни у кого нет своей отдельной койки. Как только человек встает, поскольку начинается его вахта, освободившийся моряк ложится в его провонявшую потом берлогу. И, несмотря на это, коек не хватает: с подволока свешиваются еще четыре гамака.

Подвахтенные в них редко остаются непотревоженными: во время приема пищи вставать приходится всем. Верхние койки подвязывают, а нижние освобождаются, чтобы «лорды» могли сидеть на них. Когда требуется «зарядить» четыре носовых торпедных аппарата, помещение превращается в производственное: койки убираются, гамаки подвязываются.

Под высоко поднятым настилом палубы располагаются резервные подающие механизмы для носовых торпедных аппаратов. Пока они недозаряжены, теснота неизбежна. Таким образом, каждый торпедный залп означает большую свободу для людей из носового отсека. Но носовое помещение дает своим обитателям хотя бы одно преимущество: здесь никто

не бегает взад-вперед.

Правда, сейчас носовой отсек выглядит как разграбленный цейхгауз: повсюду кожаная амуниция, спасательные приспособления, пуловеры, мешки с картошкой, чайники, ведра, свернутые в бухту канаты, хлеб… Невозможно себе вообразить, что все это куда-то исчезнет, чтобы освободить пространство для двадцати одного матроса и единственного торпедиста-маата, который спит не в помещении для унтер-офицеров, а прямо здесь, на своем боевом посту.

Такое впечатление, что все, что еще не пристроено, стащили в носовой отсек.

Когда я вхожу, боцман как раз гонит двух матросов в нос:

– Живо, живо, ящик с салатом между торпедными аппаратами! Черт побери! Салат! Можно подумать, у нас тут огород!

Боцман демонстрирует мне ловкость в тесноте лодки как особый цирковой номер. Он держит себя так, словно теснота – его родная стихия.

– Один всегда заходит сюда за счет другого, – говорит он. – Возьмем хотя бы гальюн: их здесь два, но один нам приходится использовать под провиантскую. Это значит больше места для жратвы и меньше для говна! Но то и другое должно находиться в равновесии!

По всем отсекам под подволоком толстыми жгутами идут кабели и трубопроводы. Если открыть дверцу шкафчика, там снова обнаруживаются трубы, провода и вентили – буд-

то дерево шкафчика всего лишь милый камуфляж технического хаоса.

В обед мы со вторым вахтенным сидим на складных стульях в проходе. Командир и стармех сидят на «кожаном диване», койке стармеха. Помощник механика и первый вахтенный офицер сидят с торцов бака.

Когда кому-то необходимо пройти, нам со вторым вахтенным приходится вставать или плотно прижиматься животом к баку и горбиться, чтобы человек мог пробраться через нас. Вскоре выяснилось: вставание еще не самое большое неудобство.

На командире совершенно истасканный пуловер неопределенного цвета. Свою серо-голубую рубашку он заменил на красную в клетку, воротник которой выпущен поверх пуловера. Пока вестовой обносит, он сидит со скрещенными руками, откинувшись глубоко назад в своем углу, и упорно рассматривает подволок, словно его ничто так не интересует, как текстура дерева.

Помощник стармеха – обер-лейтенант. Новичок на борту. После этого похода он должен заменить стармеха. Блондинистый северный немец с широким, несколько грубоватым лицом. За едой мне виден лишь его профиль. Он не поворачивается ни направо, ни налево и помалкивает.

Стармех сидит напротив меня. По сравнению с командиром он кажется еще худее и костлявее, чем есть на самом де-

ле: острый нос с горбинкой, на котором отчетливо проступают кости. Гладко зачесанные назад черные волосы. Залысины имитируют лоб мыслителя. Очень темные глаза. Выступающие скулы и височные кости. Полные, резко очерченные губы, но твердый подбородок. Люди зовут его Распутиным, прежде всего потому, что он после каждого похода еще долгое время вдохновенно и терпеливо холит свою черную бородку клинышком, пока наконец не решается соскоблить ее и смыть вместе с мыльной пеной.

Стармех на борту с первого похода. Он здесь второй по важности человек, неограниченный повелитель всех механизмов. Его царство полностью отделено от сферы действия морских офицеров, он постоянно в центральном посту.

«Стармех – первоклассный, – сказал Старик, – он точно держится курса, если на то пошло. Он проделывает это с чувством. Новичок не способен на такое. У него нет на это особого нюха. Одних лишь знаний тут мало. Нужно чувствовать, как реагирует лодка, и принимать заранее меры, еще до того, как проявится тенденция. Опыт и интуиция! Это дано не каждому. Этому вряд ли научишься…» Такого стармеха, каким он сидит рядом со Стариком, с его узкими, необычайно подвижными руками, мечтательным взглядом, длинными, зачесанными назад волосами, я действительно могу представить кем угодно: крупье или игроком в кости, скрипачом или киноактером эпохи немого кино. По телосложению стармех может быть даже танцором. Вместо сапог он

носит только легкие спортивные тапочки, вместо униформы подводника – своего рода тренировочный костюм. Он ловчее всех проскальзывает сквозь люки водонепроницаемых переборок. «Без мыла пролезет», – услышал я сегодня утром замечание маата центропоста ему вслед.

От Старика мне известно, что стармех, при всей его нервозности породистого скакуна, бесстрашный человек и вдобавок очень старателен. Во время стояния лодки в доке я редко видел его в офицерском казино флотилии. С утра до вечера он был на борту и входил в каждую мелочь.

– На этой подлодке нет ни одного болта, который затянули бы без надзора стармеха. Он не доверяет ни одному рабочему с верфи.

Второго вахтенного офицера из-за его маленького роста в экипаже зовут Садовым Гномиком. Как и Старика и стармеха, я знаю его уже давно.

Второй вахтенный такой же знающий специалист, что и стармех. Внешне у него всегда внимательное и слегка лукавое выражение лица. Стоит кому-либо заговорить с ним, на щеках у него появляются улыбчивые ямочки.

– Парень задними лапами крепко стоит на палубе, – говорит Старик. Он спит спокойно, когда второй несет вахту на мостике.

Первый вахтенный офицер только что проделал первый боевой поход. Пока лодка стояла на верфи, я почти не видел его в офицерском казино. В отличие от стармеха командир

с ним и вторым вахтенным держится принужденно. Он либо подчеркнуто сдержан, либо преувеличенно дружелюбен.

В противоположность второму первый вахтенный офицер долговязый, бледный, бесцветный тип с неподвижным, сонным лицом. Ему недостает самосознания и уверенности. Зато он неестественно тороплив. Вскоре я понимаю: это безынициативный исполнитель без чувства юмора. Его ушные раковины удивительно слабо очерчены, мочки сросшиеся. Крылья носа прижаты. Вообще, все его лицо производит впечатление чего-то незавершенного. Кроме того, у него весьма неприятная манера бросать косые взгляды, не поворачивая при этом головы. Лишь когда Старик отпускает какую-нибудь шуточку, он снисходит до кислой улыбки.

– Если теперь мы пускаемся в море только с гимназистами и переростками из гитлерюгенда, дело наше табак, – как-то пробормотал Старик в баре «Руаяль», при этом явно подразумевая и первого вахтенного.

– Чашки! – приказывает командир и разливает всем чай. Горячему чайнику нет места на баке. Я вынужден зажать чайник между ног и тянуться к еде через него.

Черт, горячо! С трудом выдерживаю.

Командир цедит чай с явным наслаждением. Он еще глубже откидывается в угол и задирает одно колено так высоко, что оно упирается в край бака. Затем, слегка кивая, он переводит свой взгляд с одного на другого, совсем как благодушный отец, довольный своим семейством.

В его взгляде вспыхивают плутовские искорки. Рот расплывается. Второй вахтенный вынужден снова вставать. Я, разумеется, также, вместе с чайником, потому что коку нужно пройти через отсек в нос.

Кок – коренастый, низкорослый парень с шеей такой же ширины, что и голова. Сияющими глазами он доверчиво глядит на меня. Я подозреваю, что он идет через кают-компанию нарочно, чтобы выслушать похвалу за обед.

– Об этом спросите меня! – жуя, говорит Старик коку вслед.

Щелчок громкоговорителя. Раздается голос:

– Приготовиться первой вахте!

Первый вахтенный офицер поднимается и начинает обстоятельно готовиться. Старик с интересом следит, как тот влезает в громадные сапоги, чрезвычайно тщательно закутывает горло шарфом и напоследок, завернувшись в кожаную куртку на толстой подстежке, по всей форме докладывает о заступлении на вахту.

Чуть позднее приходит старший штурман, только что сменившийся с вахты, с покрасневшим от ветра лицом, и докладывает свое:

– Ветер норд-вест, тенденция дрейфа вправо, видимость хорошая, барометр тысяча три.

Затем поднимает нас с места, поскольку хочет переодеться в кают-компании фельдфебелей.

Старший штурман также на борту с самого момента

вступления лодки в строй. Он никогда не был на других судах, служил только в подплаве.

Старший штурман не годился бы в актеры: мускулы на его лице были слишком малоподвижны. Оттого оно нередко кажется застывшей маской. Лишь темные глаза, глубоко посаженные в глазные впадины и занавешенные кустистыми бровями, были полны жизни. «Он способен и затылком видеть», – слышал я, как уважительно сказал о нем кто-то в носовом отсеке.

Понизив голос, чтобы не слышал стоявший рядом старший штурман, Старик говорит мне:

– Парень – мастер в счислении пути! Когда выдается плохая погода и мы целыми днями или даже неделями не наблюдаем ни звезд, ни солнца, он с удивительной точностью определяет местоположение нашего судна. Иногда я сам себя спрашиваю, как ему это удается. У него по горло дел на борту: начальник третьей вахты и вдобавок на нем все навигационное барахло и все заботы.

Вскоре после старшего штурмана в нос потребовалось боцману. Берман – неуклюжий парень, со здоровым румянцем на щеках. За ним, словно пример контраста между моряками и техническим персоналом, следует бледный, испитой старший моторист Иоганн.

– Страсти Христовы, – как называет его командир, – большой специалист. Просто влюблен в свои машины. Почти не бывает на ходовом мостике, типичный представитель преис-

подней.

Через пять минут трое из новой вахты через кают-компанию торопятся в корму.

Меня это уже больше не беспокоит, поскольку я, как только первый вахтенный офицер встал, сразу же пересел на его место.

– Этого вот зовут Арио, – поясняет стармех. – А последний, маленький – новичок… как его там… замена Беккеру. Уже успел схлопотать прозвище: Библиолюб; видимо, любит читать религиозные книжицы.

Вскоре через помещение проходит сменившаяся вахта. Стармех откидывается назад и монотонно продолжает:

– Бахман, по прозвищу Жиголо. Дизелист-кочегар. Еще одно недоразумение: кочегарить больше нечего, но традиции на флоте держатся дольше, чем старые суда… Хаген: электрик-кочегар – вот уж где совсем нечего топить. Этот турбинист, другой – матрос центрального поста. Отличные мальчики.

Затем в противоположном направлении проходит долговязый блондин.

– Хаккер, маат торпедного отделения – старший носового отсека.

– Замечательный парень, – говорит Старик, – однажды при сильном волнении полностью разобрал и отремонтировал дефектную торпеду из торпедного пенала верхней палубы. Разумеется, внутри лодки. Это был наш последний

«угорь», и именно им мы задвинули под ватерлинию еще одному пароходу-десятитысячнику. Его пароходу, строго говоря. Скоро он получит свою «яичницу» – крест, – заслужил.

Следующий, проходящий через помещение, маленького роста. У него очень черные, тщательно зачесанные назад волосы. Смеющиеся глаза-щелки дерзко взглядывают на стармеха. На предплечье у него татуировка; я успеваю разглядеть матроса, обнимающего девушку на фоне красного солнца.

– Это Дунлоп. Торпедист. Подготовка торпед на борту. Большая гармоника в гидроакустическом посту – его.

Последним проходит старший моторист Франц. Стармех посылает ему вслед мрачный взгляд.

– Слишком уж быстро сдает, – Иоганн, второй, тот понадежнее.

Обед закончился, и я отправляюсь из кают-компании в унтер-офицерское помещение.

Боцман – ас в укладке грузов. Он распределил и закрепил провиант по всей лодке таким образом, чтобы не нарушился дифферент лодки; и, как он с гордостью объяснил мне, при этом скоропортящиеся продукты расположены ближе, чем провизия длительного хранения. Никто, кроме него, не знает, куда исчезло огромное количество провианта. На виду у всех остались только сухие колбасы, окорока и хлеб: колбасы свешиваются с подволока в центропосту, как в какой-нибудь коптильне. Свежий хлеб нашел приют в гамаках перед

гидроакустическим постом и радиорубкой. Каждый раз, когда нужно пройти мимо радиорубки, приходится согнувшись пробираться под буханками хлеба.

Я пролезаю через люк второй водонепроницаемой переборки. Теперь моя койка свободна. Сумка с пожитками лежит в ногах. Я могу задернуть зеленые шторы над койкой и отгородиться от внешнего мира. Деревянная решетка с одной стороны, белый лак вверху, зеленые шторы с другой. Жизнь на подлодке доносится до меня лишь шумами и разговорами.

После полудня поднимаюсь на мостик. Второй офицер только что заступил на свою вахту. Море бутылочно-зеленого цвета. Совсем рядом с лодкой оно кажется почти черным. Воздух влажный, все небо заволакивается.

Когда я простоял некоторое время рядом со вторым вахтенным, он, не опуская бинокля, начинает говорить:

– Где-то здесь по нам дали счетверенный залп. В предпоследнем походе. Мы увидели одну торпеду прошедшей мимо по корме, другую по носу. Сильное ощущение!

На мелкой зыби толчея низких волн. Море такое мирное и безыскусно безмятежное: в тени любой из волн может прятаться пристальный глаз перископа противника.

– Тут нужно глядеть в оба! – снова говорит вахтенный офицер из-под рук в кожаных перчатках.

Наверх поднимается командир. Он чертыхается на погоду

и затем говорит:

– Посматривайте, парни, посматривайте! Скверное здесь местечко!

Вдруг он кричит на впередсмотрящего по правому борту:

– Приятель, не болтайтесь как тряпка на ветру! Тверже стоять! – И немного погодя: – Кто не переносит моря, все равно должен терпеть. Только так постепенно снова встанете на ноги!

Командир отдает распоряжение о контрольном погружении в восемнадцать тридцать. После длительной стоянки в верфи подлодка должна была впервые уйти под воду и точно уравновешена, чтобы при срочном погружении не пришлось принимать, а потом откачивать слишком много балласта. Кроме того, одновременно следовало проверить, в порядке ли все вентили и задрайки.

Маневр начинается командой «Рубку к погружению!». Зенитная установка исчезает в утробе лодки. Трое сигнальщиков и вахтенный офицер пока остаются на мостике.

Приказы, рапорты, звонки телеграфа. Вот на корме заглушили и отключили дизеля. Электродвигатели подключены к гребным валам, и контроллер установлен на максимальную ступень. Одновременно с остановкой двигателей заглушены большие, выходящие за борт патрубки – выхлопные трубы и воздухозаборники. Из дизельного отсека в центральный пост докладывают о готовности к погружению. Носовой отсек также подает сигнал о готовности. Сигнальщики уже спу-

стились. Я, заглядывая в шахту ходовой рубки снизу вверх, вижу, как вахтенный офицер лихорадочно крутит маховичок, герметично прижимающий верхний рубочный люк на свое место.

– Приготовиться к погружению, – приказывает стармех.

Люди у приводов открывающих клапанов вентиляции воздушных цистерн балластных отсеков сразу вслед за механиком рапортуют:

– Первый!

– Третий по обоим бортам!

– Пятый!

– Пятый готов!

Звучит как заклинание.

– Кингстоны и клапаны вентиляции готовы к открытию, – сообщает стармех наверх.

– Принять балласт! – следует команда сверху.

– Принять балласт! – повторяет стармех своим людям.

Вахтенные центропоста рывком открывают клапаны вентиляции и захлопки кингстонов. Воздух, придававший плавучесть лодке, с ревом вырывается из балластных отсеков. Рычаг рулей глубины устанавливает передние горизонтальные рули до упора вниз, а кормовые на десять градусов. Подлодка наклоняется и заметно тяжелеет, стрелка глубиномера медленно движется по делениям шкалы. Раздается еще один грозный удар волны по рубке, затем шум моря внезапно обрывается. Ходовая рубка погрузилась.

Давящая тишина – ни одного удара волной, ни вздоха дизелей. Радио замолкло. Радиоволны не проникают на глубину, жужжание вентиляторов тоже приостановилось.

Я внимателен, от меня не ускользает ничто. Кто знает, возможно, когда-нибудь от меня что-то будет зависеть, тогда мне нужно будет знать, за что хвататься.

Стармех приказывает:

– Носовые вверх на десять, кормовые на пятнадцать градусов!

Дифферент на нос прекратился. Поток от винтов давит на переложенные вверх горизонтальные рули и дает медленный дифферент на корму. Последние пузыри воздуха, задержавшиеся в углах балластных цистерн и способные придать лодке нежелательную плавучесть, выдавливаются из цистерн.

Стармех докладывает командиру:

– Подлодка выровнена! Дифферент – ноль.

Командир приказывает:

– Клапаны вентиляции закрыть!

Тарелки клапана вентиляции, установленные сверху на балластных цистернах, задраиваются с центропоста с помощью маховиков и рычажных механизмов.

– Держать глубину тридцать метров, осмотреться в отсеках! – приказывает командир. Он припал к штурманскому столику, опершись о него локтями.

Стармех стоит за спинами обоих рулевых-горизонтальщиков – перед глубиномером, указателями крена, диффе-

рента, водомерными стеклами, разнообразными шкалами и циферблатами манометров.

Стрелка глубиномера бежит. Пятнадцать метров, двадцать, двадцать пять метров.

Теперь слышно лишь слабое жужжание электродвигателей, словно откуда-то издалека. Где-то в трюме раздается звонкая капель сочащейся воды. Стармех вслушивается, встает на ящик с картами и, подсвечивая фонариком, обследует пространство между трубопроводами и левым бортом. Но тут звук капель прекращается сам по себе.

– Порядок, – бормочет механик.

Словно дрожь озноба пробегает по всей лодке.

Старик кажется совершенно безучастным. Он, казалось, уставился в пустоту, однако краем глаза бросает быстрые взгляды то туда, то сюда.

Стрелка манометра приближается к тридцати, ход ее все замедляется. Наконец, она замирает. Подлодка больше не проваливается, она парит как цеппелин. Однако ясно ощущается, что у нее все еще дифферент на корму. Хотя она уже не всплывает и не погружается, но все еще не лежит на ровном киле.

Стармех начинает дифферентовку:

– Принять сто литров в носовую цистерну!

Вахтенный центропоста Турбо сразу же начинает откручивать какой-то вентиль под шахтой перископа.

Стармех снова перекладывает горизонтальные рули. Те-

перь лодка подвсплывает без продувки. Нехотя стрелка глубиномера ползет по шкале назад. Заданная глубина достигается исключительно рулями глубины и винтами – динамически.

Механик время от времени командует рулевыми-горизонтальщиками. Наконец раздается и приказ командира:

– На перископную глубину!

Рывком он отрывается от штурманского столика и тяжело карабкается в рубку.

– Носовые двадцать, кормовые пять! – командует стармех.

Вот водяной столб Папенберга начинает медленно падать. Стар-мех наклоняется туловищем вбок и, откинув назад голову, докладывает в рубку:

– Перископ вышел!

Каждый подъем или падение водяного столба в глубиномере Папенберга означает подвсплытие или погружение подлодки. Рулевые своевременным переложением горизонтальных рулей должны противодействовать ее тенденции к всплытию или нырянию, как только это станет заметно по водомерному стеклу, иначе будет уже поздно: перископ либо выскочит слишком высоко из воды и при атаке выдаст подлодку противнику, либо нырнет под воду и в решающий момент командир ничего не увидит.

Стармех все это время не спускает глаз с Папенберга. Взгляд обоих рулевых также прикован к водному столбу. Он почти не колеблется. В лодке абсолютная тишина. Лишь

время от времени тихое жужжание, когда начинает работать электромотор перископа, с помощью которого командир поднимает или опускает перископ.

– Приготовиться вахте на мостик! В непромокаемой одежде! – раздается теперь сверху голос командира.

Вахтенные подвязывают под подбородком зюйдвестки и натягивают непромокаемую одежду. Затем собираются под рубочным люком.

– Приготовиться к всплытию! – приказывает командир.

В корме дизелисты подкачивают соляр, чтобы можно было сразу запустить дизели.

– Всплываем! – поступает команда сверху.

Стармех перекладывает носовой руль глубины до упора вверх, а кормовой до отметки пять. Затем командует:

– Продуть балласт!

С пронзительным шипением сжатый воздух устремляется в балластные цистерны.

– Выравнять давление! – приказывает командир.

Неожиданно у меня закладывает уши: выравнялось избыточное давление. Оно возникло сразу после принятия балласта, когда из цистерн срочного погружения был стравлен воздух. Теперь оно вы-равнялось благодаря открытию впускных и выпускных вентилей дизеля, забортных дизельных воздуховодов. И вот поток свежего воздуха устремляется в лодку: рубочный люк отдраен. Вентиляторы включены и жадно всасывают чистый воздух внутрь.

Следует серия команд в машинное отделение:

– Левый дизель к запуску!

– Левый электродвигатель – стоп! Переключить!

– Левая машина – малый вперед!

Цистерны срочного погружения еще продуты не полностью. После этого следует приказ командира:

– Продувка дизелями!

Теперь выхлопные газы дизелей продувают балластные цистерны. Это экономит сжатый воздух. И еще одно преимущество этого метода: маслянистый выхлоп предотвращает коррозию.

Балластные цистерны продуваются одна за другой. Стармеху поступает доклад, который он сразу же передает наверх:

– Первая и пятая продуты!

Командир с ходового мостика наблюдает за воздушными пузырями, которые должны возникать по обоим бортам лодки, если правильно продуты балластные отсеки. Через некоторое время он кричит вниз:

– Все продуто! От поста погружения отойти!

Подлодка снова готова к надводному ходу.

Командир приказывает:

– Правый дизель – к запуску! Правый электромотор – стоп! Переключить! Правый дизель – малый вперед!

Механик поднимается, пожимает плечами, потягивается всеми членами и лукаво взглядывает на меня:

– Ну как?

Я лишь согласно киваю и, как нокаутированный боксер, падаю на мешок с картофелем, прислоненный к ящику с картами. Стармех хватает полную пригоршню слив из ящика, стоящего рядом со штурманским столиком, открытым к услугам каждого, и сует их мне:

– Подкрепись духовно! Тут тебе не пассажирский лайнер.

Когда Старик исчез, стармех приглушенным голосом произносит:

– Сегодня точно еще повеселимся. Старик называет это «размять старые косточки». От него ничто не ускользает. У него под контролем каждый человек. Стоит кому-нибудь замешкаться, и учебные тревоги следуют одна за другой.

На штурманском столике под целлулоидом расстелена морская карта. Еще один лист, с полоской побережья. Территория за чертой побережья пустынна, словно необитаема: ни дорог, ни поселений – морская карта! Земля за береговой линией для мореплавателя не имеет значения. В лучшем случае несколько точек пеленгования и маяки с их координатами. Но зато помечены все мели и банки в устьях рек. Карандашная линия чертит зигзаг от Сен-Назера. На ней крестик: место нашего последнего взятия пеленга по суше.

Наш генеральный курс – триста градусов. Но я постоянно слышу команды рулевым на вертикальном руле. Из-за опасности нападения подводных лодок мы не можем идти пря-

мым курсом.

В центральном посту подвахтенный из машинного отделения болтает с вахтенным центропоста Турбо, спасшим рыжую бороду во время отдыха на берегу и теперь напоминающим Рюбецаля:

– Любопытно, куда попремся мы на этот раз.

– Похоже, в Исландию!

– Не-е, как пить дать – на юг! Долгая прогулка по югам. Не зря же мы прихватили целую кучу всякого барахла.

– Это еще ни о чем не говорит. Хотя какая разница, верно? Ни там, ни тут на берег не сойдешь и никого не трахнешь.

Турбо уже давно на борту. С высокомерием многоопытного морехода он кривит уголок рта, спрятанный в зарослях бороды, покровительственно хлопает собеседника по плечу, объясняя ему:

– Мыс Гаттерас в лунном свете или Исландия в тумане – для военного моряка дело привычное!

Еще до ужина командир приказывает сделать контрольное глубоководное погружение. Он хочет знать, будут ли герметичны забортные задрайки и на большой глубине.

Подлодки серии VII–C прошли испытания на глубинах до девяноста метров. Но поскольку воздействие глубинных бомб тем слабее, чем глубже они взрываются, подлодкам, чтобы уйти от бомбежки, нередко приходилось опускаться значительно глубже. Какую глубину на самом деле выдержи-

вает прочный корпус, то есть какова максимальная глубина погружения, кто знает? Те, кто навсегда ушел на глубину, уже не смогут дать отчет, а те, кто побывал на очень большой глубине и вернулся, не были уверены, действительно ли они достигли предельных параметров погружения. На какой именно глубине подлодку раздавливает толща воды – такое команда познает лишь однажды.

Серия утренних команд на погружение повторяется. Но мы не останавливаемся на тридцати метрах, а проваливаемся все глубже и глубже. На подлодке царит мертвая тишина.

Вдруг раздается резкий звук, бьющий по перепонкам ужасающе пронзительный шум. Я натыкаюсь на взгляды людей, охваченных ужасом. Но Старик не предпринимает никаких действий, чтобы прекратить наклонное падение.

Стрелка манометра остановилась на отметке сто пятьдесят метров.

Снова резкий звук, смешавшийся с глухим царапающим скрежетом.

– Да, здесь далеко не идиллическое местечко, – бормочет механик. Он втянул щеки и бросает вопросительные взгляды на командира.

– Это лодка обязана выдержать, – лаконично замечает Старик.

Тогда я понимаю, что днище лодки скребет по каменистому дну.

– Игра на нервах, – зло шипит стармех.

Безобразный скрежет не прекращается.

– Корпус-то прочный, выдержит… А вот винты и руль… – ворчит стармех приглушенным голосом.

Старик делает вид, что ничего не слышит.

Слава богу, скрежет и визг прекращаются. Лицо стармеха посерело.

– Звук как у трамвая на повороте, – говорит второй вахтенный офицер.

Старик как снисходительный наставник поясняет:

– В воде звук усиливается в пять раз. Потому много шума из ничего.

Старший механик шумно вздыхает, как спасенный утопающий, делает первый вздох. Старик одаривает его заинтересованным взглядом психиатра, затем сообщает:

– На сегодня довольно, всплываем!

Покатилась монотонная вереница команд к всплытию. Стрелка глубиномера бежит по шкале назад.

В голове моей прокручивается кинопленка о всплытии подлодки. Камера для подводных съемок была укреплена на растяжках антенны и направлена на ходовую рубку. Сначала блеклый рассеянный полумрак, темная масса по центру, которая быстро превращается в вертикально парящую в воде бочку со столбом поверх нее. Когда контуры становятся резче, бочка превращается в ограждение боевой рубки подводной лодки с поднятым перископом. Над ней появилось светлое танцующее пятно, быстро движущееся, потом возникает

кипящий поток воздушных пузырьков, разрывающий пляшущее пятно. Вдруг вспыхнул свет, и позади рубки лодки, с которой шумными потоками стекала вода, справа и слева запрыгало небо. Камера приблизилась на расстояние ладони к защитному козырьку, и ее мгновенно окатывает водяными брызгами.

Командир и вахтенные выскакивают наверх. Я следую за ними и получаю место за «корытом», в «зимнем саду». Здесь, вокруг счетверенной зенитной установки много места. Сквозь поперечины леерно-го ограждения «зимнего сада» я могу смотреть отвесно вниз. Хотя мы идем экономичным ходом, вода бурно кипит и пенится. Всплывают мириады белых пузырьков, пенные струи сплетаются, чтобы снова быстро разбежаться. Я чувствую себя в совершенном одиночестве. Один на стальном плоту. Тугой ветер обдувает меня, сталь под ногами вибрирует мелкой дрожью. Мимо по воде постоянно проносятся все новые и новые узоры. Мне приходится отводить взгляд, чтобы не закружилась голова.

Вдруг за спиной я слышу тихий, нерешительный голос Старика:

– Красиво, да?

Затем слышится его привычное неуклюжее топтание на месте. «Размять ноги» – называет он это.

Я взглядываю на низкое солнце, пробивающееся в разрывах облаков.

– Увеселительная прогулка в разгар войны! Лучше не по-

желаешь!

Тогда Старик оглядывает носовую часть и говорит:

– Самое остойчивое судно, которое существует, – судно с большим радиусом действия!

Затем мы оба снова смотрим за корму, на след судна в море.

– Эх, струя нашей лодки! – говорит Старик. – Отличный пример бренности: вот она перед глазами – и уже нет ее. – Я не отваживаюсь посмотреть на Старика. «Филозоф», – с иронией говаривал он, слыша подобные глубокомысленные речи от других. Но он продолжил свои размышления дальше: – Да, добрая матушка-земля все же слишком уж тактичная дама. Она скорее водит нас за нос.

Я лишь предостерегающе цокаю языком:

– Тсс!

Но Старика уже ничто не может сдержать.

– Конечно, понятно: она позволяет нам вообразить, будто мы, люди, увековечили себя на ней, вырезая на камнях знаки, оставляя памятники. А ведь для этого она дала нам больше времени, чем водная стихия. Два тысячелетия, не меньше.

Я был сильно смущен.

– Зато на флоте славные ясные отношения. – Все, что мне приходит в голову сказать.

– Вот именно, – говорит Старик и ухмыляется мне в лицо.

Моя первая ночь на борту: я пытаюсь себя внутренне утомить, чтобы прогнать все мысли. Волны дремоты накатывают, на некоторое время уносят меня с собой, но стоит начать по-настоящему погружаться в сон, как он бежит прочь от меня. Сплю я или бодрствую? Духота в отсеке! Вонь солярки! Вся лодка дрожит мелкой дрожью: ритм двигателей передается каждой заклепке.

Возбуждение последних часов разгоняет сон.

Дизеля гудят всю ночь. Каждая смена вахты пугает меня. Когда люк водонепроницаемой переборки отворяется или с треском захлопывается, тревожный сон снова покидает меня.

Насколько здесь иное пробуждение, нежели на обычных судах: вместо иллюминаторов, за которыми пенится море, тут во всех помещениях лишь режущий свет ламп.

Тяжелая голова, налитая свинцом от дизельных выхлопов. Уже с полчаса по нервам бьет слишком громкая радиомузыка судовой трансляции.

Под собой я вижу две выгнутых спины, но совершенно никакого пространства, куда поставить свои ноги. Если я захотел бы сейчас вылезти из койки, мне пришлось бы встать между двух наполовину опустошенных тарелок и размоченных в кофе кусков белого хлеба. Весь столик липкий и грязный. Вид бледно-желтой яичницы вызывает у меня отвращение.

Из машинного отделения несет выхлопной гарью.

– Эй, парень, задрай переборку, черт побери!

Радист-маат Хинрих с упреком посмотрел на подволок. Обнаружив меня, он пялится еще полусонными глазами, словно я привидение.

– Ну-ка, кто-нибудь, выметайтесь из этого гадючника! – командует электрик-маат Пильгрим.

Мне бы следовало выбраться из койки пораньше! А теперь уже ничего не стоит угодить в чей-нибудь завтрак! Я откидываюсь обратно и слышу:

– Убери свою жирную задницу!

– Эта яичница словно детский понос! От такой порошковой жратвы меня с души воротит!

– А ты, видно, собираешься разводить несушек в центральном посту?

Картина того, как в центропосту на приемном коллекторе сидят белые леггорны, развеселила меня. Перед моими глазами сразу отчетливо предстали палубные плиты, засыпанные их белесовато-зеленым пометом, летающий пух, а в ушах зазвучало глупое квохтанье. Еще ребенком я прикоснуться не мог к курице. Да и сейчас не переносил их. Запах пера ошпаренной курицы, бледно-желтая пупырчатая кожица, жирные ножки…

– А в трюме можно держать уток – мелкий сорт. Мы бы кормили их своими зелеными соплями.

– Фу-ты, старая свинья!

– Ну, ну, прямо уж и свинья! Подумай, как они будут радоваться: каждое утро жирная кормежка – разве это не рациональное применение? Свежачок для любимых животных.

Мне пришлось сглотнуть, чтобы подавить тошноту.

– Заткнитесь, грязные свиньи!

Некоторое время слышу лишь смачное чавканье и хлюпанье. Но затем доносится глухой звук утробной отрыжки, заканчивающийся на высокой ноте, словно содержимое рвалось наружу.

– Вот теперь порядок!

– Ты испортил людям аппетит, засранец!

А динамики уже орут на всю лодку:

Я Лилли, Лилли из Найанки.
Есть в Камеруне городок
У полноводной Танки…

Динамики можно лишь приглушить, но нельзя выключить совсем, ведь они служат для трансляции команд. Так что мне приходится отдаться на произвол радиста, который орудует проигрывателем в своем отсеке. Лилли явно пришлась ему по душе. Пластинка за сегодняшнее утро крутится уже второй раз.

Меня угнетает сознание того, что сейчас, собственно говоря, еще где-то между четырьмя и пятью часами утра. Для упрощения расчетов при радиообмене мы живем по германскому летнему времени. Кроме того, мы ушли от нулевого

меридиана так далеко на запад, что между летним временем нашего истинного местоположения и временем на борту разница возросла более чем на час. В принципе совершенно не важно, откуда вести отсчет начала суток: как днем, так и ночью здесь, внутри подлодки, горит электрический свет, и смена вахтенных и подвахтенных происходит через разные интервалы, независимо от времени суток.

Пора и мне вылезать из-под одеяла! Я говорю «Извините!» и свешиваю ноги между двоими людьми, сидевшими на койке подо мной.

– Добро всегда спускается сверху! – слышу я Пильгрима.

Пока ищу свои башмаки, которые для надежности засунул между двух труб, я веду утреннюю беседу с маатом центропоста, сидящим вплотную ко мне на откидном стульчике.

– Как обстановка?

– Comme si – comme за[13], господин лейтенант!

– Барометр?

– Поднимается!

Осторожно выбираю шерстинки одеяла из двухдневной щетины. Расческа, которой я причесываюсь, моментально становится черной. Мои волосы, словно фильтр, впитали твердые частицы выхлопной гари.

Из шкафчика выуживаю полотенце и мыло. Мне очень хотелось умыться в гальюне, но, заглянув в сферический люк водонепроницаемой переборки, я вижу, что сейчас это

[13] Так себе (фр.).

невозможно: горит красная лампочка. Что ж, пока протрем глаза и засунем зубную щетку и мыло в карманы штанов – до лучших времен.

Лампочку приладил стармех. Она загорается, как только изнутри туалета задвижку передвигают в положение «Занято». Одно из маленьких приятных усовершенствований, облегчающих тяжелый повседневный быт, поскольку теперь нет необходимости по узким проходам пробираться в неведении из одного конца лодки в другой, чтобы оказаться перед запертой дверью.

Покидая отсек унтер-офицеров, слышу, как Пильгрим возвещает: «Блажен, кто может поутру сходить без промедленья. Тому и пища по нутру, и жизнь приносит наслажденье!» У меня тут же забурчало в животе. Я прибегаю к методу Куэ: «У меня все спокойно! Мой желудок в порядке! В моем животе спокойствие и тишина!»

Стармех возвращается с утреннего осмотра машинного отсека с выпачканными маслом, протертыми лишь ветошью, руками. Первого вахтенного офицера не видно, второго механика тоже. Командир как раз умывается. У второго вахтенного еще не закончилась вахта.

Кок встал еще в шесть. К блеклой порошковой болтунье, поданной на стол холодной, добавляется масло, хлеб и черный кофе, называемый «негритянским потом». Против «негритянского пота» мой желудок решительно восстает: бурчание и протест в кишечнике становятся все явствен-

нее. Я кошу глазом, когда же наконец освободится гальюн.

– Нет аппетита? – осведомляется стармех.

– А, сам не знаю, эта бурда нисколько меня не вдохновляет!

– Вам нужно почистить зубы, может, станет легче, – произносит стармех с набитым ртом.

Из своего отсека появляется командир со следами зубной пасты и влаги на потемневшей бороде.

– Доброе утро, господа неумытые морские волки. – Он протискивается в свой угол и вперяется взглядом в пустоту.

Никто не решается что-нибудь сказать.

Наконец Старик спрашивает о девизе дня.

– Procul negotiis, – предлагает механик и сразу же переводит, чтобы никого не поставить в неловкое положение: – Долой дела!

Командир кивает:

– Учено, учено, замечательно!

Динамики ревут припев:

Я счастлива, мне хорошо,
И я признаюсь, отчего…

В подлодке начинается оживленное утреннее движение. Каждые две минуты кому-то нужно пробираться через офицерский отсек с кормы в нос, а кому-то требовалось пройти из носа в корму. Поскольку я сидел на откидном стульчике в

самом проходе, мне приходилось поминутно вставать. Дела в моем кишечнике приняли уже серьезный оборот.

Черт бы его побрал, думаю я, когда же выйдет этот идиот, который там засел? Да когда же он выметется?!

Вероятно, не было бы никаких проблем, если бы потребность в туалете распределялась равномерно. Если бы не существовало такого часа пик, как этот утренний час. В полночь посещаемость гальюна также велика, поскольку одновременно сменяются ходовая вахта и команда машинного отделения. Одновременно восьмерым сразу требовалось в гальюн. В прошлую ночь последние ждущие корчились в центральном посту, как будто получили пинок в живот.

Наконец дверь в гальюн открывается. Первый вахтенный офицер! Я в мгновение ока хватаю свои вещи и почти вырываю дверцу из его рук. В гальюне над небольшим умывальником есть кран и с пресной водой. Пресная вода, которая и без того предназначается исключительно для чистки зубов и протирания по-кошачьи лица мокрой тряпочкой, не течет. Умываюсь забортной водой и с трудом добиваюсь пены с помощью специального мыла, лежащего на полочке. Остерегаюсь полоскать рот соленой водой. Когда я вновь появляюсь в офицерской кают-компании, все всё еще сидят за столом, молча по примеру командира.

Из репродуктора томный голосок вопрошает:

Любишь ли меня?

Еще вчера ты сказал мне «нет»…

Стармех шумно вздыхает и закатывает глаза, как бездарный комедиант.

Я делаю порядочный глоток кофе и гоняю его во рту, пока не образуется пена, процеживаю коричневую жидкость сквозь узкие промежутки между зубами как через сопла, через щербину и справа налево перегоняю из одного защечного мешка в другой, пока не смывается налет и привкус выхлопной гари, – только после этого проглатываю эту пену со всеми компонентами. Ах! Дыхание стало гораздо чище. Теперь я резко втягиваю носом: всеми пазухами – и проглатываю. Итак, тракт горло – нос очищены. Теперь и кофе кажется вкуснее. Стармех был совершенно прав.

После завтрака командир с нескрываемым отвращением принимается делать записи в журнал боевых действий. Часом спустя он занимается с фенрихами[14]. Стармех снова исчезает на корме, первый вахтенный возится с какими-то бумагами.

Вестовой моет посуду – привычная рутина.

Когда я по дороге на корму вновь прохожу через центральный пост, круглая дыра рубочного люка все еще скрыта ночной темнотой. Воздух, поступающий через него, холодый и сырой. «Давай наверх!» – говорю сам себе и ставлю

[14] Фенрих – выпускник кадетского корпуса, кандидат в офицеры в Германии.

левую ногу на алюминиевую ступеньку трапа, хотя не имею ни малейшего желания вылезать. Так, теперь правую!

Вот я уже на уровне рулевого, сидящего в ходовой рубке, склонившись над своими слабо освещенными приборами.

– Разрешите на мостик?

– Так точно! – доносится голос второго вахтенного офицера.

Только тогда я высовываю голову поверх комингса и желаю доброго утра.

Проходит время, прежде чем глаза привыкают к темноте и я начинаю различать линию горизонта. Высоко на небе еще бледно мерцает несколько влажных звезд. На восточной стороне горизонта медленно разливается красный свет. Горизонт, как мне кажется, светлеет. Незаметно светлеет и вода.

Я зябну.

Поднимается старший штурман. Он молча взглядом окидывает горизонт по кругу, втягивает носом сырой воздух и распоряжается подать наверх секстан.

– Секундомер готов? – бросает он вниз хриплым голосом.

– Так точно! – утробно доносится изнутри, словно откуда-то издалека.

Старший штурман направляет прибор на Сатурн и правым глазом приникает к окуляру. На некоторое время застывает с запрокинутой головой и искаженным лицом, затем ведет секстаном вниз и одновременно подкручивает регулировочный винт: ловит на небе Сатурн и точно совмещает его

с горизонтом.

– Внимание: Сатурн на нуле, – кричит он вниз.

В центропосту остановили секундомер. Старшему штурману в сумерках удается прочитать координаты.

– Двадцать два градуса тридцать пять минут, – докладывает он вниз.

По времени и высоте звезд теперь можно вычислить базис. Визированная звезда под одним и тем же углом наблюдается с любой точки этой линии в одно и то же время. Но одна базисная линия еще не показывает местоположение судна, нам нужна вторая.

Старший штурман во второй раз поднимает секстан.

– Внимание: Юпитер на нуле!

Пауза и затем:

– Двадцать четыре градуса двадцать семь минут!

Осторожно старший штурман спускает секстан вниз, затем лезет сам. Я сползаю вслед за ним. Внизу он стаскивает с себя куртку и склоняется к штурманскому столику. У него нет просторной штурманской, какие имеют штурманские офицеры на больших судах. В его распоряжении лишь крохотный штурманский столик в центральном посту, установленный с левого борта среди хаоса переключателей, переговорных труб и вентилей. Над столиком шкаф для секстанов и других навигационных приборов, затем полка с таблицами и лоциями, таблицами приливов и отливов, азимутов, списками маяков, синоптическими и астрономически-

ми картами.

Старший штурман берет карандаш и принимается за вычисления. Он на короткой ноге с синусами, косинусами, тангенсами, котангенсами и их логарифмами.

– Собственно, весьма утешительно, что мы еще умеем определяться по звездам, – сказал я просто так, чтобы нарушить молчание.

– Как вы сказали?

– Просто я имею в виду – при всем техническом совершенстве здесь, на подлодке, собственно говоря, весьма странно, что вам приходится определять местоположение судна при помощи секстана…

– А как же еще?

Я вижу, что мои соображения неуместны. Вероятно, еще слишком раннее утро для серьезных разговоров, утешаю я себя и сажусь на картонную коробку.

Старший штурман поднимает целлулоид, под которым лежит морская карта. Карта нашего оперативного района однообразно серо-голубая. Никакой береговой полосы, банок – только густая сеть квадратов с цифрами и буквами по вертикальным и горизонтальным линиям.

Старший штурман зажимает циркуль в зубах и бормочет:

– Вот тебе на – то самое место, всего пятнадцать миль, ну да!

Карандашной линией он соединяет наше последнее место с определенным только что. Показывает квадрат на карте:

– Как-то здесь нам дал прикурить, почти что «головные уборы долой и на молитву!».

Старший штурман явно хотел показать, что он не прочь немного поболтать. Циркуль он направил на место, где «дали прикурить».

Маат центропоста также подошел и смотрит на точку в сетке квадрата.

– Это произошло в четвертом походе. Типичный поход «Пронеси, Господи!». Атаки одна за другой. Они не отпускали нас с самого начала. Весь день глубинные бомбы. Отказов и не сосчитать…

Старший штурман уставился на кончик циркуля, словно на нем были какие-то цифры и знаки. Затем он втягивает воздух, складывает циркуль и убирает его твердым, коротким движением.

– Да, было не до шуток.

Я вижу, что ждать уже больше нечего. Маат центропоста возвращается к своим обязанностям. Старший штурман тщательно укладывает секстан в футляр. От острия его циркуля на карте осталась лишь маленькая дырочка.

Теперь старший штурман снимает с крючка свою зюйдвестку, затем прорезиненную куртку и бинокль. Он готов к вахте.

Поскольку в подлодке все еще царит некоторая суматоха, я, чтобы не мешаться под ногами, тоже лезу на ходовой мо-

стик.

Изрезанные облака уже обложили сизо-синее небо причудливой инкрустацией. Одно из облаков набегает на солнце. Его тень ложится на море белесовато-зеленым отсветом. Облако столь огромно, что краем своим достает горизонт. Но в нем есть просветы, сквозь которые солнце изливает сейчас свои косые лучи. Как сквозь объектив, лучи струятся над морем, один из них скользит прямо на лодку, и через мгновение мы вспыхиваем под ним словно под мощным театральным юпитером.

– Самолет слева по борту!

Крик боцмана Дориана поражает меня словно электрический удар. В долю секунды я замечаю на краю серого облака темную точку, и в то же мгновение я у рубочного люка. Копчиком ударяюсь о маховик люка между рубкой и центропостом. От боли вскрикиваю. Пока я проваливался, у меня перед глазами отчетливо стоял образ кожаного шлепанца, которым следовало бы накрыть этот выступающий металлический рычаг.

Внизу я отпрыгиваю в сторону недостаточно быстро. Сверху уже сваливается следующий. Сапогом он попадает мне в затылок. Я слышу, как боцман с грохотом приземляется на площадку трапа.

– Дьявольски близко! – выдавливает он, свистя легкими.

Командир, открыв рот, стоит под шахтой ходовой рубки и смотрит вверх.

– Принять балласт! – орет второй вахтенный офицер вниз.

Выпускные клапана задраиваются. Сверху вниз обрушивается поток воды, из которого выскакивает мокрый насквозь второй вахтенный.

Стрелка глубиномера движется очень неохотно, словно ей необходимо преодолеть какое-то сопротивление. Кажется, что подлодка будто бы приклеилась к поверхности.

Тогда стармех кричит:

– Все в нос!

Люди бегут через центропост в нос и налетают друг на друга – вереница топочущих, согбенных людей. Наконец, дифферент увеличивается. Лодка наклоняется. Мне пришлось схватиться, чтобы удержаться на ногах.

Второй вахтенный офицер, задыхаясь, докладывает командиру:

– Самолет свалился из окна в облаке слева по курсу, тип определить не успели.

Закрыв глаза, я снова вижу черную точку перед клубами облаков. Во мне напряженно бьется одна и та же мысль: вот сейчас он сбросит! сбросит! И следом: бомбы… бомбы… бомбы…

Дыхание замирает. Командир уже не отводит взгляда от глубиномера. Лицо его неподвижно, почти равнодушно. На дно трюма стекает вода. Кап-кап-кап. Совсем тихо жужжат электродвигатели.

Электродвигатели? А может, это гирокомпас?

Ожидание: затаить дыхание, потом осторожный вдох.

Ничего?

– По постам погружения! – приказывает стармех.

Люди работают, упираясь в обе стенки, словно шахтеры при подъеме по штреку.

– Выровнять оба горизонтальных руля!

Я выпрямляюсь, перевожу дух. Острая боль, будто вонзилось раскаленное железо, пронзает копчик. Только теперь замечаю, как сильно я ударился о рычаг.

– Все отлично! – говорит командир. – Уходим на глубину тридцать метров.

– Дерьмо! – бормочет старший штурман.

Командир стоит посередине центрального поста, руки в карманах, фуражка на затылке.

Он гремит:

– Нас обнаружили, но, будем надеяться, они не скоро начнут наступать нам на пятки. – Затем обратился к стармеху: – Пока что лучше нам оставаться под водой. – И добавил мне: – Я же вчера говорил вам: они точно знают, когда мы вышли, и вот теперь полный бардак.

Вторую воздушную тревогу я пережил всего несколько часов спустя, во время вахты старшего штурмана. Когда он проревел «Тревога!», я заметил по курсу в сорок пять градусов, на палец над горизонтом, точку в серой мгле и, упираясь ногами и руками в боковые перила металлического тра-

па, упал вниз.

– Принять балласт! – орет старший штурман сверху.

Я вижу, как он висит на запорном маховике крышки люка и ногами пытается нащупать опору. Вот наконец он закручивает шпиндель.

– Пятый!.. третий по обоим бортам… первый! – слышу я команды.

Шумно булькая, вода врывается в балластные отсеки.

– Самолет по курсу сорок пять градусов, расстояние три тысячи метров. Заход не по прямой! – докладывает старший штурман.

Приточные шахты и вентили выхлопных газов дизелей надежно закрыты, оба электромотора переключены на гребной винт.

Снова затаиваем дыхание.

– Лодка погружается быстро, – докладывает стармех, и вслед за тем: – Продуть цистерны срочного погружения!

Цистерны срочного погружения продуваются сжатым воздухом. Они вмещают пять тонн. В надводном положении они затопляются и придают подлодке дополнительный тоннаж, что при погружении помогает быстрее преодолеть плавучесть корабля. Сейчас для лодки эти пять тонн лишние. С треском сжатый воздух врывается в цистерны срочного погружения. Вода с шипением выдавливается за борт.

Все еще ни одной бомбы!

До нашего погружения – на заданную глубину – прошло

не более тридцати секунд. Но воронка, которая образуется на месте погружения, остается на поверхности не менее пяти минут. Вот в этот водоворот обычно томми и бросают свои глубинные бомбы…

Ничего!

Старик делает выдох. Старший штурман более сдержанно повторяет вслед за ним. Маат центропоста едва заметно кивает мне.

На глубине восемьдесят метров стармех преспокойно приказывает рулями поднять нос, а потом снова опустить его.

– Лодка выровнена! – докладывает он и приказывает: – Клапаны вентиляции задраить!

Добрых пять минут мы все стоим молча. Наконец командир приказывает идти на перископную глубину. Оба руля глубины круто перекладываются вверх, электродвигатели работают на среднем ходу.

Затем следует приказ, который удивляет меня: стармех приказывает принять балласт, хотя лодка должна всплывать. Пусть речь и идет о каких-нибудь пятидесяти литрах, тем не менее команда кажется противоестественной. Я задумался, пока не вспомнил: когда мы всплываем, подлодка расширяется, поскольку давление на нее падает. Оттого наш удельный вес становится меньше, и мы должны уравнять его, чтобы всплывать не слишком быстро. Для удержания подлодки на заданной глубине она должна быть всегда точно уравнена.

– Может, он нас не заметил! – говорит Старик.

Третья воздушная тревога пять часов спустя. Теперь уже первому вахтенному офицеру приходится орать «Принять балласт!».

– Зашел прямо со стороны солнца! – выдавливает он, тяжело дыша.

– Все в нос! – приказывает командир, поскольку лодка недостаточно быстро принимает балласт.

Снова скольжение, топот через центральный пост, бешеная ругань. Скорей вниз!

Стармех, чтобы лодка быстрее погружалась, пускает в ход дополнительный трюк: как только подлодка с помощью горизонтальных рулей, переложенных до упора вниз, получила дифферент на нос, механик приказывает открыть водозаборники самых нижних балластных цистерн. Несколько мгновений он использует их импульс, чтобы ускорить движение подлодки вниз.

– Это уже третья проделка, – бормочет первый офицер, когда становится ясно, что бомбежки снова не будет.

– Меня таким глупым способом не подначишь, – попенял Старик.

– Они становятся все наглее! – ругается стармех. – Нравы падают!

– Лучше пока останемся на глубине, – дает понять Старик, – на такое везение, как у Крамера, вообще нельзя рас-

считывать.

Мы скрываемся в офицерской кают-компании.

– Очень хорошо, первый офицер, – говорит Старик нарочито громко, чтобы было слышно и в центропосту.

Похвалу первый заслужил тем, что достаточно рано обнаружил самолет. Дело это непростое, когда в кабине сидит коварный парень и заходит со стороны солнца. В десяти случаях это чайки. Когда они с неподвижно раскинутыми крыльями скользят прямо над горизонтом в сторону подлодки, сигнал тревоги раздается еще до того, как ее можно правильно установить. В блестящем, ослепительном как стекло пространстве, размывающем контуры, маскироваться легче всего. Но в одиннадцатый раз подлетающая чайка оборачивается самолетом.

– Перед самолетами следует обязательно разворачиваться к наветренной стороне, – говорит Старик, – первый вахтенный офицер поступил совершенно правильно. Тогда несущей поверхности самолета приходится преодолевать дополнительное сопротивление ветра, и его начинает сносить. Не слишком много, но все же. Ведь нам приходится бороться за каждый метр.

– Возьму на заметку: к наветренной стороне!

– О летчиках, которых теперь на нас бросают, можно лишь сказать: лопухи!

Старик прикусывает нижнюю губу, пару раз коротко кивает, прищуривается и говорит:

– Они остаются один на один с собой и своим мужеством и все равно бесстрашно лезут вперед, как Блюхер в Катцбахе. Ведь могли бы они просто отбомбиться в какой-нибудь луже и расстрелять весь боезапас в белый свет; кто бы узнал об этом? – Старик продолжает воспевать Королевские военно-воздушные силы. – Пилоты бомбардировщиков, которые бомбят нашу базу, тоже далеко не трусы. Сколько машин мы сбили в прошлый раз?

– Восемь, – отвечаю я, – одна в Ла-Боле чуть не свалилась нам на крышу – упала между двумя соснами. Теперь я уже никогда телячьи мозги и в рот не возьму.

– Почему это?

– В бомбардировщике еще оставались три человека. Кабина была полностью разрушена. У них было множество сэндвичей. Двойные ломтики белоснежного хлеба с жареным мясом и зеленью посередине, и на одном из сэндвичей лежали мозги пилота. Я хотел вытащить их бумаги – хоть что-нибудь, – но самолет уже загорелся, и вдруг начали рваться патроны боезапаса, пришлось шлепнуться на землю.

Пытаюсь читать лоцию. Краем уха некоторое время я еще прислушивался к голосу Старика:

– Пилот, который потопил «Гнейзенау», видно, был еще та штучка! Вместо бортового пайка у него лежали презервативы…

Я откладываю книгу.

– Наверное, он хотел совместить работу с посещением ка-

кого-нибудь борделя на рю Де-ла-Пе. Канадцы – народ практичный, – говорит стармех.

– В чем ему пришлось разочароваться, – подхватывает Старик, – но штука вышла потрясающая! Планировал вниз по спирали. Ни один паразит его не обнаружил – ни одного заградительного зенитного выстрела! Вообще ни одного! Вдобавок сумел лечь на боевой курс и сбросить торпеду. Цирк, да и только! Просто жаль, что им не удалось снова выскочить. Этот гроб с музыкой рухнул в воду как камень. Ну, да вы сами видели…

Вслед за Стариком и старшим механиком я поднимаюсь в центральный пост.

Стармех докладывает:

– Лодка к всплытию готова!

– Всплываем! – приказывает командир и взбирается на трап.

– Продуть балласт! – говорит стармех маату центропоста, который сразу же открывает главный вентиль вентиляции.

Стармех напряженно следит за падением водяного столба в водомерном стекле, затем докладывает:

– Рубочный люк чист!

Теперь сверху доносится голос командира:

– Рубочный люк открыт!

– Выравнять давление! – кричит стармех.

– Будем надеяться, эти паразиты оставили нас в покое, – слышу я старшего штурмана.

В центропосту за полчаса до полуночи. Тихо жужжат вентиляторы. Через открытый рубочный люк дизеля всасывают внутрь свежий воздух. Свет немногочисленных включенных ламп приглушен, чтобы ни один отблеск не проник наружу и не выдал нас какому-нибудь преследователю. Полумрак расширил пространство до бесконечности. В таинственной сумрачной глубине зеленым светом мерцают лишь фосфоресцирующие указатели направления, которые в случае наивысшей опасности укажут нам путь к рубочному люку. Эти указатели появились совсем недавно. Они были установлены только после катастрофы с подлодкой Кальмана: у Кальмана осенью 1940 года произошел инцидент с норвежским грузовым судном в шлюзе Брунсбютелера. Его небольшую лодку в составе флотилии Эмсмана, у которой не было водонепроницаемых переборок, протаранили сразу за центральным постом, и так основательно пропороли, что она в считаные секунды пошла ко дну. В результате спаслась только вахта на мостике. Когда лодку подняли – Кальман был при этом, – в центропосту обнаружили часть экипажа, сгрудившуюся друг подле друга, но не под рубкой, а совсем по другую сторону перископной шахты.

Но нам здесь какой прок от этих зеленых стрелок? Если тут подлодка пойдет ко дну, то она погрузится на глубину пары тысяч метров. Там стрелки могут мерцать сколько им заблагорассудится.

Полумрак делает центральный пост огромным. Только с носа струится свет, который в темноте четко высвечивает выпуклый круг люка водонепроницаемой переборки, пограничное пространство: он идет из радиоотсека и от лампы, которая горит в проходе офицерской кают-компании. В световой дорожке можно различить двух человек. Они сидят у коробки из-под карт и чистят картошку. Едва различим, к своему пюпитру прислонился вахтенный центропоста и в журнале погружений пересчитывает количество заполнений уравнительных цистерн. Клокоча и плещась, под плитами палубы перекатываются тонны трюмной воды. Оба задраенных люка переборок за унтер-офицерским отсеком гасят шум дизелей; они звенят, словно звук пропустили через фильтр. Воды, струящиеся вдоль бортов подлодки, наполняют центропост неравномерным шелестом.

Я пробираюсь через люк носовой водонепроницаемой переборки. Вахтенный радист, надвинув наушники на голову, сидит целиком, уйдя в книгу. Это Хинрих. Он оперся локтями о столик, на котором стоит его аппарат. Со стороны это выглядит так, словно он на костылях. Перед койкой командира, напротив радиорубки, натянута зеленая штора. Но из узких щелок пробивается свет: значит, командир еще не спит. Вероятно, он, по своему обыкновению, лежа пишет письма, которые сможет отослать только после возвращения на базу.

Офицерское помещение сейчас, когда за баком никого

нет, также кажется больше, нежели обычно. За баком на диванчике спит стармех. Рядом с его лицом, словно маятник, беспорядочно мотаются по всем направлениям туда-сюда его часы на короткой цепочке.

На нижней койке по правому борту, за шторой, перед заступлением на вахту спит первый офицер. Дверца в носовой отсек с треском открывается. Стармех с булькающим звуком поворачивается на другой бок и, сопя, продолжает спать, теперь повернув лицо к шкафчику. В офицерский отсек спереди входит человек с растрепанными волосами и заспанным лицом, здоровается, несколько секунд нерешительно оглядывается и затем твердо отодвигает штору от койки первого вахтенного:

– Без двадцати ноль часов, господин лейтенант!

Сонно-тупое лицо первого офицера появляется на свет из полутьмы койки. Затем он с трудом выпрастывает одну ногу из-под одеяла, переправляет ее через сетку койки и переваливается телом. Весь процесс выглядит как замедленная киносъемка прыжка в высоту, – я не хочу раздражать его своим присутствием и иду дальше в нос.

В помещении унтер-офицеров у бака с мрачным выражением лица сидит старший моторист Иоганн. Он зевает и говорит:

– Доброе утро, господин лейтенант!

– Немного рановато для утра!

Моторист без слов качает головой и медленно распрям-

ляется.

Две тусклые лампы слабо освещают носовое помещение. Тяжелые, кислые испарения обдают меня: пот, соляр, затхлая трюмная вода, запах влажной одежды.

Здесь, в носу подлодки, сильнее всего ощущается качка. Два смутных силуэта качаются у торпедных аппаратов. Я слышу брань:

– Несправедливо!

– Гнать на баррикады!

– Посреди ночи!

Из двух гамаков поднимаются два человека, а затем еще один с койки по бакборту.

– Будь оно неладно! – Должно быть, это Арио.

Так как лодка снова тяжело проваливается, оба только после нескольких попыток попадают в рыбацкие сапоги.

– Развеселая погодка, а? – говорит один из них. – Опять ноги промокнут!

Оба одеты в толстые свитера и повязывают вокруг горла платки, чтобы через ворот прорезиненных курток, в которые они облачатся уже в центральном посту, не заливало водой.

Люди из прежней вахты, спустившиеся сверху с негнущимися конечностями, мокры насквозь. У старшего штурмана поднят воротник и зюйдвестка надвинута на самые брови. У других от водяных брызг побагровели лица. Они вешают бинокли на крючки и так же молча, как новая вахта одевалась, тяжело и неловко стаскивают мокрые прорезиненные

куртки. Затем они помогают друг другу выбраться из прорезиненных штанов. Младшего из вахты нагружают ворохом мокрых штанов, курток и зюйдвесток, и он все это несет в корму. Там имеется небольшое пространство для сушки между обоими электромоторами и кормовым торпедным аппаратом.

Сменившиеся торопливо глотают горячий кофе, умываются и, толпясь, уходят.

– Ну что, еще бодрствуете? – спрашивает меня старший штурман.

Старшина Вихман идет на корму, старший штурман с сигнальщиками отправляются в нос.

Некоторое время я слышу лишь шум моря и гудение машин, пока вахтенный центропоста не включает трюмный насос, откачивающий со дна лодки за борт воду, заливающуюся сверху.

И вдруг снова оживление в центральном посту: одевается новая вахта в машинное отделение. Я вижу мотористa Арио и электрика Цёрнера.

В отсеке унтер-офицеров у бака вольготно расположился Вихман. Он смачно жует.

Я забираюсь в свою койку. Теперь я отчетливо слышу, как рядом бьется о лодку море. Оно журчит и бурлит, то накатываясь, то отступая, иногда доходя до яростного шипения.

Распахивается дверца на камбуз. Болтая, появляются Кляйншмидт и Радемахер.

– Оставь нам чего-нибудь пожевать, старый обжора! Тебя как ни увидишь, вечно ты жуешь!

– А ты вечно несешь всякую чушь!

– Зато ты не можешь говорить ни о чем, кроме жратвы!

Сквозь щелку в шторке я вижу, как Вихман непринужденно чешет между ног. Он даже слегка приподнялся, чтобы было удобнее.

– Спрячь свою балду, парень! – ругается Радемахер. – Тебе тут некого с груши околачивать!

– А имел я тебя! – зло парирует Вихман.

Диалог, похоже, вызывает у Кляйншмидта какие-то воспоминания: он так демонстративно хихикает, что все внимание переключается на него.

– Был у меня в парижском бистро один случай, – сразу же начинает он, – я просто сидел, а напротив меня на диванчике один негритос с киской. Гляжу, а она его под столиком лапкой вовсю уделывает! Нет, они там в Париже совсем без тормозов!

Радемахер понимающе кивает.

– Вдруг негритос засопел и закатил глаза. Думаю себе: надо поглядеть. Я отодвинул стул назад и только пристроился, а он как даст струю – и прямо мне на ботинки!

– Вот это да! – вырвалось у Вихмана.

– А они что? – любопытствует Радемахер.

– Я сначала сидел, меня как будто током шандарахнуло. Поднял глаза, а они уже снялись, и их словно ветром сдуло!

– Да, ну и дела! – все еще изумляется Рademахер.

Вихман, видимо, только сейчас переварил всю историю. Он откидывается и заявляет:

– А все-таки французы – свиньи!

Фенрих демонстративно ворочается с боку на бок. Но троица за баком не обращает на него никакого внимания.

– Теперь она умеет и по-французски – только вот разговор ей дается тяжело, – болтает сам с собой Вихман.

Проходит еще не меньше четверти часа, прежде чем все стихает и в отсеке унтер-офицеров.

От нового вахтенного в центропосту, похоже, толку мало. Маат центрального поста уже пару раз отругал его.

Поскольку в свободное от вахты время он читает трактаты в черном переплете, вместо того чтобы точить со всеми лясы в носовом отсеке, он настроил большинство людей против себя. Вследствие того, что держит себя надменно, с видом «я лучше всех», он оказался в полной изоляции. Хотя время от времени парень и пытается подстроиться, но в большинстве случаев в ответ на это лишь получает отпор и оскорбления в виде «старого жополиза», «аллилуйщика».

О новичке особенно неодобрительно отзывается Арио:

– И что он придуривается! Лучше бы служил как положено!

Когда я сидел как-то в носовом отсеке, Арио рассказывал, что брат торпедиста-маата Хаккера сидит в тюрьме. Он стар-

ше Хаккера всего на год: двадцати двух лет. Чтобы отомстить склочному соседу, он «окольцевал» его пять фруктовых деревьев.

Арио объяснил мне это так:

– Если на стволе дерева снять кольцо коры, считай, дереву конец!

– Но ведь это не тянет на тюрьму? – только и удивился я.

– Еще как! Нынче это называется «угроза продовольственному обеспечению германского народа»! Одним словом, саботаж!

Матрос Швалле прислушивался к разговору.

– Слушай, да он ловко устроился! – невольно вырвалось у него.

– Что ты там несешь?

– Сам посуди, ну что там с ним может случиться, а? Так сказать, он там теперь как за каменной стеной!

У Арио нет слов.

– Приятель, ну ты даешь!

Швалле не спорит. Он невозмутимо делает порядочный глоток лимонада из керамической кружки в виде черепа.

Нужно быть круглым идиотом, думаю я, чтобы притащить такую огромную штуку на борт.

В бортовом журнале боевых действий за первые два дня сделаны такие записи:

Суббота

8.00 – выход в море.

16.30 – контрольное погружение.

18.00 – глубоководное погружение.

Воскресенье

7.46 – воздушная тревога с отработкой устранения повреждений и глубоководное погружение.

10.55 – воздушная тревога.

15.44 – воздушная тревога.

16.05 – выдвижение в оперативный район.

– У вас все еще глаза красные, как у кролика, – поддевает меня стармех на следующий день. Это были третьи сутки в море.

– Что тут удивительного, последнее время столько всего – одно представление за другим!

– Это так! А ведь вы были во время того отменного кавардака в «Мажестик»? Ведь это была ночь перед приходом Томсена, или я ошибаюсь?

– Точно! Однако вы много потеряли! Вот это было зрелище, когда Шолле вылетел в окно!

– А как это было? – спрашивает стармех.

– Этого Шолле, – говорю я стармеху, – вы хорошо знаете. Ну того, что считает себя отчаянным воякой? Так вот, этот болван Шолле решил угостить всю компанию. Поначалу люди были еще вежливы. Господин Шолле, видно, еще до того уже изрядно принял: он чувствовал себя просто преотлично.

У него уже не ощущалось никаких тормозов – вел себя так, словно был здесь своим, ровней. Именно так, будто все его только и ждали…

У меня вновь встают перед глазами багровые рубцы на его обвислых щеках – красные, как полоса от бича, я вижу, как господин Шолле дико жестикулирует, затем медленно качается взад-вперед и, с пивной пеной вокруг рта, разражается вздором:

– Фантастика, просто фантастика – эти великие победы! Замечательные парни – соль земли! Так точно!

И вижу презрительные взгляды всей нашей банды и слышу вопрос:

– А что тут, собственно, делает это дерьмо? – громко и отчетливо.

Однако господин Шолле все еще слышит только собственные речи:

– Отважно вперед, Альбион на колени… так точно! Фронт может положиться на нас… за родину до последнего человека… мы, доблестные рыцари…

– Из него просто бил фонтан благоглупостей, – говорю я стармеху, – целая передовица всякой чуши о несгибаемом боевом духе на фронте и тому подобном. Ясное дело, что при этом он имел в виду себя. Себя в первую очередь. Добрый Маркус уже давно закипел. Но ведь он благовоспитанный человек! Лишь когда Шолле потрепал его по плечу и заревел «Только вперед!» и уже окончательно сорвался со

всех тормозов, начал рыгать, а потом выдал: «Ах, подумаешь, парочка паршивых глубинных бомб!» – Маркусу отказала выдержка. Вы бы видели: он побагровел от бешенства и не мог выговорить ни слова, задыхаясь, будто ему не хватало воздуха. Но остальные – все взвились как один. Кругом все летало – столы и стулья. Затем они схватили Шолле за руки и за ноги и поволокли через ресторацию, частью волоча его по полу, частью на себе – через всю кишку длинного зала. Вышибить «героя тыла» пинком под зад – так было поначалу задумано. Но тут боцману пришла мысль получше – видимо, потому, что Шолле болтался между ними как гамак, – боцман приказал подтащить ревущий и сучащий ногами мешок к большому окну и скомандовал: «Раскачиваем и на счет три вышвыриваем!» И затем раздалось: «Раз, два, три!» Стоило бы посмотреть: Шолле несколько секунд парил в воздухе, затем раздался звонкий треск стекла, и он приземлился уже на улице.

В ушах у меня все еще стоит звук пинка и как два куска огромного стекла со звоном падают на пол, а боцман удовлетворенно восклицает: «Вот так!» Молча все четверо разворачиваются, топают обратно к своим столикам, обтирают ладони, словно испачкались в дерьме, и принимаются за свою выпивку. «Ну и глупый боров!» – говорит один маат.

Внезапно другой вскрикивает: «Вон он снова!» – и показывает на выход. Сквозь марево табачного дыма появляется залитое кровью видение.

«Да он разыскивает свое пенсне!» – восклицает кто-то.

Трое снова срываются с мест. Несмотря на опьянение, они с быстротой молнии оказываются у дверей и выталкивают цепляющегося Шолле через порог обратно на улицу. Один из них носком отковыривает упирающиеся в дверной косяк ноги Шолле и захлопывает дверь: «Может, теперь-то ему хватит, грязная свинья!»

– А как там было с полевой жандармерией? – спрашивает стар-мех.

– Они явились через час, когда оставались лишь маат и «лорды», и тут раздался выстрел. У одного из жандармов пуля застряла пониже спины.

– Вся флотилия скорбит, – чеканит стармех, – что ему не отстрелили что-нибудь другое.

Я знаю, отчего у механика зуб на этих цепных псов и на все так называемые контролирующие органы: когда он на спецпоезде подводного флота возвращался после отпуска из Парижа и сладко задремал в полдневную жару, расстегнув нижние пуговицы тужурки и раскинувшись в своем кресле, вдвоем в купе лишь с обер-лейтенантом лодки UY, дверь распахнулась и начался спектакль. Стармех все подробно описал мне в «Руаяле»: «Вдруг в купе возник потный парень в полевой серой форме, с ночным горшком на голове, в сапогах со шпорами, опять же, галифе бутылками, так сказать, во всей боевой раскраске, пушка на брюхе, а у боковых окошек слева и справа от дверей купе, как бараны, уперлись лбами

его жандармы: «Ваше командировочное предписание, господин обер-лейтенант, и будьте добры привести себя в порядок. Здесь вы не у себя на флоте!»

Тогда стармех, как он рассказывал, поднялся, но даже и не подумал застегивать пуговицы, а расстегнул все остальные, выудил документы, протянул их этой расфуфыренной тыловой крысе и, растопырив пальцы, засунул руки в карманы брюк.

«Это нужно было видеть. Он чуть не лопнул! Ревел как осел: «Я подам рапорт! Я подам рапорт!» – «Ах, вот оно что, – говорю тогда, – решились на замену? Значит, и ваши коллеги появятся у нас на борту! Замечательно! А то во флотилии судачат, будто вы уже ни на что не годны, не можете быть примером для команды, как того желает наш фюрер!»

Я вижу, как у стармеха от удовольствия раскрывается рот. А потом он начинает сиять, словно рождественская елка. Видимо, я попал в самую точку.

Вечер понедельника в офицерской кают-компании. Смотрю на часы: двадцать ноль-ноль. Мне не верится, что мы всего лишь третьи сутки в море. Суша так далеко за кормой, словно мы уже во многих сотнях миль от нее. С усилием представляю себе, что всего лишь в пятницу вечером в это самое время начинался тот бедлам в баре «Руаяль».

– Меланхолия? – осведомляется Старик.

– Нет, не совсем, я просто думал о Томсене.

– А! Ту форму я выкинул, – говорит Старик.

Вторник. 4-е сутки в море. Стармех, похоже, от нечего делать видит во мне подходящую возможность, чтобы оживить в своей памяти пару технических инструкций. Стоит мне только сказать: «Да ведь все это чертовски сложно», как он с готовностью отвечает: «Подлинное слово никогда не будет изречено. Чертовски сложнее, чем на обычных пароходах, которые вроде корыта шлепают по мелководным лужам. У них определенная осадка и постоянная плавучесть. Столько-то и столько-то брутто-регистровый тоннаж и столько-то нетто-регистровый тоннаж. И если хоть небольшой перегруз, калоша садится немного ниже грузовой марки. Но в этом ничего страшного, никакой причины для беспокойства. В худшем случае забота для портовой грузовой полиции. А вот у нас перегруз порождает кучу всяких последствий…» Стармех каменеет и нервно смежает глаза. Я боюсь, что он опять замолкнет, и потому не свожу глаз с его губ. Но он заставляет меня ждать.

Плавание, транспортировку по воде я всегда воспринимал как труднопостижимый феномен. Не какая-нибудь весельная лодка, а любое металлическое судно казалось мне, как ребенку, каким-то чудом. Железо, плавающее по воде! Както на Эльбе я видел даже судно из бетона с толстыми, словно бункер, бортами. И не мог допустить и мысли, что эта огромная бетонная глыба тоже способна плавать, да вдобавок еще

и везет вниз по Эльбе груз.

Хоть я и знаю механизмы подлодки и понимаю смысл ее маневров, погружение и всплытие все равно остаются для меня необъяснимым фокусом. Факт, что подлодка сама способна лишить себя плавучести, чтобы позднее снова ее восстановить, каждый раз заново поражает меня.

Когда стармех снова начинает говорить, интонация его приобретает менторские нотки:

– Так называемое принципиальное отличие в следующем: плавучесть у нас создается не как у всех обычных посудин, за счет вытеснения воды корпусом судна, а за счет воздуха в цистернах. Таким образом, на поверхности мы держимся благодаря своего рода спасательному жилету. Как только воздух выпускается, мы идем ко дну.

Стармех ждет, пока я не кивну с понимающим видом.

– Нам приходится в оба глаза следить за соотношениями нашего водоизмещения. Они должны быть постоянными. Ведь при срочном погружении у нас нет времени долго копаться. Приходится все выполнять в сумасшедшем темпе. Поэтому мы должны дифферентовать лодку для подводного хода заранее, то есть еще когда идем в надводном положении. Это означает: изменением наполнения уравнительных цистерн так сбалансировать подлодку, чтобы при тревоге оставалось ликвидировать плавучесть лишь в балластных цистернах. Когда лодка оказывается под водой, с точки зрения веса она не обладает ни плавучестью, ни потопляе-

мостью.

Стармех делает паузу и спрашивает:

– Дошло?

– Да, стармех!

– Таким образом, на заданной глубине водоизмещение подлодки по отношению к окружающей воде должно равняться нулю, чтобы она висела и чутко реагировала на малейшую работу винтами и легко управлялась вертикальным и горизонтальными рулями в обе стороны и вверх и вниз. Она не должна ни тонуть, ни всплывать. Но водоизмещение лодки, к сожалению, меняется каждый день: в результате расхода провианта, воды, горючего, например. Но самое глупое, что и вес вытесняемой лодкой воды также не остается одинаковым. Таким образом, в перспективе лишь одни меняющиеся факторы, насколько хватает кругозора. И этим расчетам нет конца. Тут и чихнуть некогда.

Механик делает передышку. Из шкафчика он достает початую бутылку яблочного сока. О петлю дверцы сковыривает металлическую крышку и приставляет бутылку к губам.

Обтерев рот, он продолжает:

– Больше всего нас достает изменение удельного веса соленой воды. Если бы мы погружались в пресной воде, все было бы намного проще. Тогда нам нужно было бы лишь компенсировать суточный расход провизии, соляра и воды соответствующим количеством воды в уравнительных цистернах, и дело в шляпе. Но в соленой воде происходят ковар-

ные процессы. Иначе и не скажешь. В этой луже вода совсем не одинакова. Потому и наша плавучесть меняется изо дня в день, собственно говоря, даже каждый час.

Стармех делает многозначительную паузу, чтобы боковым зрением проверить эффект своих слов.

– На удельный вес воды влияет уйма всевозможных факторов. При этом играет роль глубина, температура, время года, разнообразные течения, даже растительность, например на удельный вес воды весьма существенно воздействует планктон. Немножко больше планктона в воде – и нам нужно откачивать балласт. Зависит и от солнца.

– От солнца? – удивляюсь я.

– Да, солнце испаряет воду и повышает содержание солей. При увеличении содержания солей повышается удельный вес воды.

– Но это же минимальные отклонения?

Сильно наморщив лоб, он некоторое время размышляет.

– Изменение удельного веса воды, возьмем его действительно за минимальное – на одну тысячную, – означает, что для уравновешивания веса лодки его также необходимо изменить на одну тысячную. Совершенно логично. Теперь допустим, что водоизмещение подлодки семьсот пятьдесят тонн. Изменение на одну тысячную тем не менее все-таки дает семьсот пятьдесят килограммов, но отклонение в семьсот пятьдесят килограммов уже приводит к тяжелой ошибке при расчетах заполнения уравнительных цистерн. Чтобы как-то

удерживать лодку в парящем состоянии, мы должны сбалансировать ее с помощью уравнительной цистерны с точностью до пяти килограммов. Я говорю «как-то», поскольку практически невозможно дифферентовать лодку так точно, чтобы она висела без помощи машин и рулей. Уже лишних поллитра воды – да какое там! – наперстком больше воды в цистернах – и лодка погружается, наперстком меньше – и она всплывает. Каждый день благодаря Господу, седому повелителю облаков, мы вынуждены замерять удельный вес окружающей нас морской воды.

С чувством удовлетворения механик вслушивается в собственную речь. Он просто цветет, будто он и есть родоначальник всех наук.

Командир, который явно уже некоторое время слушал лекцию стармеха, проходя мимо, спрашивает:

– Ну что, профессор, а сейчас все в ажуре? – и протискивается через люк передней водонепроницаемой переборки.

Стармех сразу же сбивается. Когда он снова приходит в себя, тон у него жалобный:

– Старика интересует лишь чтобы лодка была дифферентована: ни литра больше, ни литра меньше…

Теперь стармех делает вид, будто он полностью исчерпал себя. Но я вижу, что он все еще подбирает слова для последней ключевой фразы.

– Ха, – выдыхает он теперь, – в том-то и дело, что мы идем в море благодаря физике…

– И химии.

– Да, и химии тоже, чтоб не сглазить, тьфу, тьфу, тьфу, – говорит стармех, – химически верное становится верным психологически. Тут можно оказаться в заднице у такого пророка!

Стармех вдруг заспешил. Я уже не успел спросить его, что он имеет в виду.

Старик за обедом развлекается. Никто не знает, что так развеселило его. Он даже задает шутливый тон, которого я за ним не знаю. Стармех появляется последним.

– Ну что, старший механик? – спрашивает командир снисходительно-самодовольно.

– Все в порядке, господин каплей!

Командир любезно предлагает ему занять место в углу койки. Подчеркнутое радушие вводит стармеха в заблуждение. Украдкой он оглядывает одного за другим. Догадываюсь, в чем тут дело: когда я проходил через центропост, то видел, как командир тайком вручил маату маленькую записку.

Проходит всего несколько минут, как раздается пронзительный ревун тревоги. Стармех с видимым усилием поднимается. На подволоке раздается скрежет проворачивающихся рычагов захлопок вентиляции. Тарелки со стола летят на палубу.

– Лови! – кричит командир.

Стармех бросает сердитый взгляд на Старика. Ну кому это надо? Ему необходимо быть в центральном посту.

– Проворный, как белка! – насмешливо бросает вслед ему Старик.

Шум, доносящийся из центропоста, убеждает меня, что это далеко не обычная учебная тревога – скорее аварийная тревога.

Все, что было на баке, летит вперед. Хруст и треск – я наступаю уже на осколки.

Дифферент на нос все увеличивается.

Озадаченный взгляд второго вахтенного офицера. Но командир по-прежнему делает вид, будто его ничего не касается.

Из центропоста раздается донесение:

– Поступление забортной воды через водомерное стекло!

Вместо того чтобы вскочить, командир одаривает второго вахтенного офицера широкой ухмылкой, пока до того наконец не доходит, что авария преднамеренная.

Старика чертовски веселят брань и крики, доносящиеся из центропоста. Он тяжело распрямляется и неторопливо, будто любознательный турист в горах, взбирается в центральный пост. Вокруг стоит шум и грохот, потом раздается тяжелый удар. Должно быть, опрокинулся какой-то массивный предмет. Лодка пытается встать на нос.

У первого вахтенного глаза вылезают из орбит.

Мы собираем посуду в углу кожаного диванчика. Ну и

свинство! Весь бак в остатках пищи. Чертов Старик – затеять такое прямо во время еды!

– Команда должна быть начеку: томми не станут ждать, пока мы набьем брюхо. Тяжело в учении – легко в бою, – таков комментарий, которым потчует нас Старик посреди всеобщей суматохи.

Слава богу, подлодка постепенно снова принимает горизонтальное положение. Старик становится снисходительным. Он распоряжается уйти на глубину шестьдесят метров. Приходит вестовой и с молчаливой старательностью принимается за приборку.

Через четверть часа является механик, насквозь мокрый и совершенно запыхавшийся. Командир одалживает ему собственный меховой жилет и с предупредительной вежливостью протягивает стакан чаю.

– Все прошло отлично!

Стармех отвечает на похвалу командира косым взглядом.

– Ну, ну, ну! – успокаивает его командир.

Механик откидывается на спинку и кладет руки на колени ладонями вверх; они все в солярке. Старик бросает на них неодобрительный взгляд.

– Однако, стармех, что же должен подумать наш первый вахтенный, когда вы являетесь к столу в таком виде?

Первый вахтенный мгновенно заливается краской. Стармех засовывает руки в карманы штанов и спрашивает:

– Так лучше? Собственно говоря, я уже поел.

– Но, стармех! Вы же сейчас так нас загоняли, что мы спали с тела! Так что, дети мои, ешьте, пейте и набирайтесь сил. – Старик говорит с полным ртом, потом спрашивает так же насмешливо: – Вам нечего подремонтировать в левом дизеле? Сейчас для этого просто прекрасная возможность. Может, перебрать правый? Мы долго пробудем под водой. Так что все в ваших руках!

Что еще остается стармеху, как в следующее мгновение покорно скрыться на корме.

Старик, ухмыляясь, оглядывается по сторонам и говорит:

– Наконец-то покончено с этим проклятым бездельем. Весь этот затянувшийся бардак на базе уже сидит в печенках…

С тех пор как подлодка вышла в море, командир повеселел или по меньшей мере стал доволен. Он даже раньше времени вернулся из отпуска. Лодку вполне могли бы снарядить и без него, но нет: он желал при всем присутствовать.

По его преждевременному – на целую неделю – возвращению народ, разумеется, тут же заключил, что дома командир отнюдь не наслаждался счастьем и довольством.

О частной жизни его, похоже, никто ничего не знал. Я тоже смог составить себе приблизительную картину личного бытия капитана лишь по его невольным скупым оговоркам, циничным замечаниям и некоторым моим наблюдениям. Временами он получал письма, написанные зелеными чернилами и крупными буквами. Дама, от которой они при-

ходили, была вдовой летчика. Ее отец – председатель суда. О рояле со свечами в подсвечниках – красными свечами – и об «очень красивом вечернем платье» Старик уже как-то проговорился. С недовольным выражением лица он рассказывал и о некоторых эпизодах последнего отпуска. «Все время приходилось увешиваться орденами, даже когда ходили за покупками. Однажды орден попал на весы. Идиотизм. И так каждый вечер. Постоянно в каких-то заботах. Просто глупеешь. «Вы должны сделать доклад в школе!» – «Это уже без меня!» – говорю я.

Старик признавался:

– И всего-то о чем каждый из нас мечтает в отпуске: сбросить форму. Каждый день купаться. На все наплевать. Никаких газет. Никакого радио. Растянуться. Полностью отключиться. Но тут перед тобой кладут отутюженную парадную форму, кортик. Белоснежная рубашка, черный шелковый галстук, черные носки, начищенные до блеска остроносые башмаки и поверх всего сверкающий от солидола шейный орден на безупречно чистой черно-бело-красной муаровой ленте, боже ты мой!

Работы в дизельном отсеке через час были закончены. По судовой трансляции командир передает во все отсеки:

– Приготовиться к всплытию!

Вахтенные заняли свои места под рубочным люком.

– Всплытие! – приказывает командир.

– Носовые горизонтальные рули вверх на десять градусов, кормовые вверх на пять, – приступает стармех к выполнению команды.

– Продувка!

Из стальных баллонов сжатый воздух с шипением врывается в балластные цистерны, отверстия которых были задраены еще во время погружения. Вода оттуда вытесняется вниз через клапаны кингстонов.

– Лодка всплывает. Рубка чиста. Лодка всплыла! – докладывает стармех. Рубочный люк отдраили и перепад давления выравнивается. – Продуться дизелями!

Вахта выскакивает наверх. Теперь бортовая качка подлодки переходит в килевую. Удары волн доносятся с громким шипением. Когда продувка полностью закончена, командир приказывает:

– Отойти от постов всплытия!

Один из мотористов карабкается в ходовую рубку. Он закуривает сигарету, садится на корточки по левую руку от рулевого, словно араб, и с закрытыми глазами наслаждается сигаретой. Он еще только докуривает, а снизу следующий курильщик уже требует освободить место.

После полудня. Подлодка уже два часа идет в надводном положении – «средним ходом», но без зарядки, потому что аккумуляторные батареи полностью заряжены. При таком ходе лодка делает четырнадцать – пятнадцать узлов в час, не

быстрее хорошего велосипедиста.

Тревога! Ревун бьет мне в самое в сердце. Дыхание перехватывает. Проклятый ревун не унимается!

Человек с полуспущенными штанами выскакивает из клозета.

– Просрался бы уж от души! – раздается ему вслед.

Дизеля заглушили – лодка уже ныряет.

Что же происходит? Только теперь я понимаю: эта тревога настоящая, боевая.

Мы погружаемся всего на четверть часа. Потом океан снова начинает шипеть за нашим стальным корпусом.

– На сегодня, мне кажется, довольно, – высказывается стармех.

– Ха! – отвечает Старик.

– Старик и томми – два сапога пара, – слышу я, как нудит Цейтлер в унтер-офицерском отсеке, – никакого покоя.

Болтанка номер один

Среда. 5-е сутки в море. Из-за громкой трансляции радиомузыки я не засыпаю и нахожусь в полудреме. Потом хлопает дверца в камбуз. Гул голосов тех, кого вмещает помещение. Электрик-маат Пиль-грим орет:

– Вестовой! Что за бардак тут на баке? Давай живо. Убери все!

Сквозь щелку в шторке я заглядываю вниз. Старшина Вихман уставился на пятно фруктового мармелада на столике и вопит:

– Нет, вы только поглядите, будто дамочка задрала флаг Z!

У Пильгрима и Вихмана только одна тема для разговоров. Иногда я не понимаю их слов и намеков.

– Белый как снег и алый, – говорит Вихман. Глаза у него широко расставлены. Поскольку они еще и слегка выпучены, в лице его, несмотря на узкий подбородок, есть что-то жабье. Чтобы зачесанные назад черные волосы лежали гладко, Вихман использует твердый бриллиантин, который тщательно намазывает на зубчики расчески и затем самозабвенно наносит на голову. Он любит разглагольствовать, как в жизни обожает театры, кабаре, изысканное общество, называя это своей мечтой. Бахвал, кичащийся незаконченным гимназическим образованием. Однако, несмотря на бахвальство,

Вихман хороший моряк; он первым уже обнаружил несколько караванов.

Электрик-маат Пильгрим, как и его сослуживец Радемахер, тюрингец, маленький, бледный, с бородкой клинышком. Только он болтает больше, чем Радемахер.

Сейчас Пильгрим и Вихман обмениваются профессиональным опытом по поводу одной дамы из борделя для матросов.

– Я уже больше не могу терпеть: вечные причитания: «Только не в меня, только не в меня!» Да следи ты сама! Ну что за дурочка!

– Но дело свое она знает!

– Задница у нее что надо, ничего не скажешь!

Пауза. Затем снова раздается голос Пильгрима:

– Я как-то драл одну крошку из киоска прямо на скамейке в городском парке. Так полный презерватив с моей шишки удалось содрать только дома…

Я вываливаюсь из койки.

Язык, как кусок наждака, приклеился к нёбу. Тут не поможет и усиленное откашливание. Поскольку у меня во рту не побывало ни глотка воды, так и приходится ходить со слипшейся гортанью. Еще одна попытка кашлянуть – и комок слизи величиной со среднюю устрицу наполнил рот. И что теперь делать?

Вестовой докладывает, что мне все приготовлено. Я сжимаю зубы и киваю, молча, иначе «устрица» тут же выскочит.

Отрываю кусок газеты, даю комку скатиться на клочок газеты, ловко заворачиваю. Подкатывает тошнота.

Наконец я могу хотя бы наполовину ясным голосом спросить из центропоста:

– Разрешите подняться на мостик?

– Разрешаю, – доносится сверху голос второго вахтенного офицера.

Я прячу комок газеты с «устрицей» в карман кожаных штанов – и наверх, на свежий воздух!

– Доброе утро, господин офицер! – Завернутую слизь – за борт, а глотку во всю ширь навстречу ветру. Скорее в «зимний сад», определяя направление ветра, спускаю штаны и – о, блаженство! – облегчаюсь на воле.

Только теперь оглядываю небо и море.

Вскоре я забылся, склонившись через поручни ограждения, разглядывая воду, которая проносится подо мной мимо лодки, кипя и шипя, до молока вспениваясь с воздухом. Пузыри и полосы пены сплетаются во все новые узоры, словно на бесконечной ткани. От молочных полос перевожу взгляд на корму. Длинная, в несколько метров шириной, полоса отмечает наш путь. Она усмиряет беспорядочно вздымающиеся вокруг волны, словно по ним прошлись утюгом и разгладили все бугорки и неровности.

Я спрашиваю второго офицера:

– Что такое флаг Z?

Второй вахтенный охотно поясняет:

– Флаг Z – сигнал атаки. Он красного цвета!

– Вот канальи! – вырывается у меня.

Офицер огорошенно смотрит на меня.

– Благодарю! – отвечаю я и снова исчезаю в рубочном люке.

Рулевому в рубке почти не требуется перекладывать штурвал. Под рукояткой штурвала на картушке компаса взад-вперед плавает одно и то же число: двести шестьдесят пять градусов. Мы идем тем же курсом. Чтобы выйти в наш оперативный район, нам, по расчетам старшего штурмана, потребуется еще десять суток экономичного хода. Экономичный ход выбран потому, что при нем наименьший расход соляра. Мы могли бы дойти туда гораздо раньше, если бы пустили дизеля на полный ход. Но выбран средний, потому что так расход солярки самый низкий. Запасы топлива нужно беречь для охоты.

За завтраком я тщетно жду командира.

Ревун тревоги заставляет всех вздрогнуть. «Самолет! – пронизывает меня. – Самолет! Будь они трижды прокляты, эти навозные мухи! Опять нырять, только и делаем, что ныряем!»

Через люк водонепроницаемой переборки слышу командира в центральном посту. У него секундомер в руках.

Слава богу, тревога учебная! Старик проверяет с секундомером в руке, сколько времени проходит от сигнала тревоги до погружения.

От внезапного крена меня кидает вбок. Лодка ныряет. Я пытаюсь удержать тарелки на баке, но две-три штуки соскальзывают на палубу.

Мне следует помнить, как было уже однажды при учебной тревоге: на лодке Кершбаумера кто-то по недосмотру перекрыл вентили трубопроводов глубиномера. Кершбаумер хотел быстро уйти на глубину шестьдесят метров. Лодка соответственно и ушла. Но поскольку манометр не шелохнулся, Кершбаумер решил, что подлодка все еще на поверхности, и приказал принять балласт дополнительно. Потом еще, пока вдруг не обнаружил ошибку. Но лодка уже находилась на глубине двести метров – при гарантии верфи в девяносто.

Когда мы сидим за обедом, звучит сигнал следующей учебной тревоги. Стармех при старте смахивает со столика полную тарелку супа прямо на колени второму вахтенному.

Старик и после второй тревоги явно недоволен: ни слова одобрения.

В шестнадцать часов незамедлительно раздается третий сигнал тревоги.

Чайные чашки на столе – вдребезги.

– Если дело так пойдет и дальше, скоро будем есть лапами и пить из бачков, – слышу, как жалуется боцман.

Наконец командир роняет:

– Теперь годится!

Я пытаюсь продолжить изучение техники в центропосту за штурманским столиком. Возникший между Френссеном

и Вихманом спор – вечное противостояние моряков и судовых специалистов – своим появлением прекращает старший штурман. Вихман еще успевает быстро назвать дизель Френссена «вонючкой», за что Френссен молниеносно смазывает Вихмана по лицу своей замасленной лапой.

Как только установилась тишина, я опять смог сосредоточиться на системе цистерн: к устройствам для погружения подлодки в первую очередь относятся балластные цистерны. Они, когда заполнены воздухом, придают лодке необходимую плавучесть. Их три. Они расположены внутри и снаружи прочного корпуса. Внутренняя балластная цистерна такого размера, чтобы лодка, если внешние будут повреждены, могла держаться на поверхности благодаря ей одной.

В нижней части балластных цистерн расположены кингстоны, сверху – вентиляционные клапаны. При приеме воды открываются и те и другие. Воздух выходит через вентиляцию, а через кингстоны поступает вода. Помимо балластных отсеков у подлодки имеются и балластные цистерны. Кроме балластных цистерн есть еще топливные. Они расположены во внешнем корпусе и, когда лодка выходит с базы, заполнены соляром. По мере того как эти цистерны опустошаются, они начинают служить резервуарами для воздуха, придающими лодке дополнительную плавучесть. В зависимости от того, находится в них соляр или воздух, мы говорим о состоянии плавучести А или В.

Помимо балластных и топливных цистерн на подлодке

есть еще уравнительные и дифферентные цистерны. Тоннаж, уменьшающийся в результате расхода провизии, пресной воды и горючего, компенсируется забором воды в уравнительные цистерны, расположенные на уровне центропоста. Уравнивание означает: компенсировать тоннаж лодки приемом или откачкой забортной воды так, чтобы он соответствовал весу вытесняемой подлодкой воды.

Цистерны дифферента служат для коррекции положения лодки под водой. Если у подлодки дифферент на нос или на корму, то перекачкой воды из одной цистерны в другую можно вновь поставить лодку на ровный киль – это называется нулевым дифферентом. Дифферентные цистерны крайне важны для подлодки. Они наш балансир, поскольку в воде лодка в равной степени обладает тенденцией крениться как в продольном направлении, так и на борт. Это означает, что килевая остойчивость лодки под водой равна бортовой. У надводных судов все наоборот. Хотя при сильном волнении они склонны сильно заваливаться на борт, однако не обладают тенденцией становиться на нос. Их килевая остойчивость намного выше бортовой.

Но у лодок дифферент в подводном положении вполне может достигать сорока градусов. В отличие от надводных судов лодка в подводном положении чрезвычайно чувствительна к распределению тяжести и с трудом удерживается на ровном киле. Поэтому конструкторы придают дифферентным цистернам как можно большую эффективность, разме-

щая их в самом носу и в корме лодки. Они, если брать от центрального поста, в известной степени являются удлиненными плечами рычага.

Если центнер[15]картофеля на лодке в подводном положении переместить от центропоста в нос, появляется дифферент на нос. Чтобы его компенсировать, необходимо перекачать двадцать пять литров от центропоста на корму. То есть лишь половину веса картофеля, ведь вода будет забрана из цистерны на другом конце лодки. Носовая часть корабля одновременно будет облегчена на половину веса картофеля. Если центнер картошки в нос перенести из отсека электродвигателей, то расчеты дифферента будут выглядеть уже иначе. Тогда следовало бы перекачать пятьдесят литров воды с носа на корму.

Я усвоил простое практическое правило: уравнительными цистернами можно изменить плавучесть лодки, дифферентными цистернами – положение ее в воде.

Вскоре после ужина забираюсь в свою койку: устал как собака.

Мааты, бог знает почему, больше уже не причиняют мне неудобств. Когда я лежу в койке, они самозабвенно и беззастенчиво предаются обсуждению темы номер 1. Мне стоит лишь задернуть шторки, чтобы больше не существовать для них. Я кажусь сам себе зоологом, который привык к образу жизни животных, за которыми он наблюдает.

---

[15] Немецкий центнер равен 50 кг.

День, начавшийся с Пильгрима и Вихмана, теперь завершается Френссеном и Цейтлером. Их разнузданная фантазия, должно быть, неисчерпаема. Многое бы я дал за то, чтобы узнать, действительно ли Цейтлер и Френссен пережили все то, чем щеголяют. Такие ли они завсегдатаи борделей, какими себя изображают? Правда, оба кое на что способны.

Старшина Цейтлер – северный немец. Его бледному лицу конфирмандта с редкой растительностью на подбородке совсем не подходят ни циничные речи, ни тяжелая расползшаяся фигура. Моряк же он первоклассный. Неутомимый. У него первая вахта. Если я не заблуждаюсь, Старик больше полагается на него, чем на первого офицера.

Дизелист-маат Френссен – неотесанный увалень, и, где только ни появляется, вокруг него распространяется острый душок самоуверенности. Ни тени сомнения в самом себе не омрачает его чело.

Френссен из Котбуса. Он любит изображать из себя бесчувственного человека: этакий презирающий человечество Десперадо из третьеразрядного ковбойского фильма. Язвительно-мрачный взгляд он, должно быть, отрабатывал перед зеркалом. Мотористам Арио и Заб-лонски из его вахты точно не до смеха. Френссену не больше двадцати лет. Он спит прямо подо мной.

Сквозь полузадернутые шторки моей койки до меня доносится:

– Вонь, как в свинарнике!

– Не думаешь же ты, что тут будет аромат, как в квартире!

Зевки и стоны.

– Это почему же?

– Потому что ты можешь здесь пускать!

Некоторое время слышно лишь чавканье.

– Завидуешь, потому что твоя наставила тебе рога?

– Да заткнись ты! То, что ты делаешь своим концом, я могу проделать пальцем.

– Ясное дело, все котбусские сделаны пальцем!

Раздается пыхтение, утробные зевки, сопение.

Четверг. 6-е сутки в море. Утром еще до завтрака мы с командиром на ходовом мостике. Небо все завешено причудливыми бирюзовыми облаками, переплетающимися между собой нежными нитями. Повсюду проглядывают пурпурные отблески. Постепенно красный фон начинает гореть и гасит бирюзу облаков. Пурпурный блеск охватывает восточную половину небосвода, ползет вслед за облаками и теперь прорывается из каждого окошка в них. И поверхность облаков пронизывают светящиеся точки. Потом вспышки и проблески постепенно опять бледнеют, словно свет обессилел. Краски неба смягчаются: солнце поднялось за облаками.

– Приятное море сегодня! – говорит командир.

При смене вахты я, похоже, открываю для себя новые лица.

– Ни разу не видел парня! – бормочу я, когда из рубочного

люка появляется новая незнакомая фигура.

– Пятьдесят человек все-таки, целая толпа, – замечает Старик. – Впрочем, и со мной случается, что я не узнаю своих людей. Некоторые из них такие хамелеоны, что их не узнаешь, как только с их лица исчезает борода страстного картежника. После прихода на базу, когда они уже побрились и пробираются на вахту, я постоянно спрашиваю себя: как же так – и ты с этими детьми выходишь в море? Ведь они все младенцы, молокососы, которым еще материнскую сиську сосать… И я сказал себе: ради бога, для «Вохеншау[16]» и газет съемки только входящей на базу подлодки, с небритым экипажем. Но не уходящие в море мальчишеские лица. Хотя бы щадя эмоции нашего противника. – Старик, как обычно, некоторое время заставляет меня поломать голову, гадая, о чем он думает, прежде чем продолжает: – Томми стало бы стыдно, если бы им пришлось увидеть, кто устраивает для них ад: детский сад с парой гитлерюгендовцев в роли офицеров. Перед этими юнцами любой покажется стариком! Настоящий крестовый поход детей.

В большинстве случаев Старик преображался. Но таким, как сейчас, я не видел его еще ни разу. Обычно он молчалив и угрюм, хотя и не как те, кто в разладе с судьбой, а как углубленный в себя бесстрастный рефлектирующий человек. А сейчас он говорит горячо, правда, с остановками,

---

[16] «Вохеншау» – официальная еженедельная кинохроника в фашистской Германии.

как это у него водится, но длинными пассажами.

Наконец вещи на лодке обрели свои постоянные места. Ни один ящик больше не загораживает проход по лодке, и уже не нужно пробираться, вжимая голову в плечи. Люди больше не ходят с опухшими глазами. Дни пошли своей чередой. Потянулись судовые будни – блаженство после лихорадки первых суток.

Несмотря на это, у меня такое состояние, словно между мной и действительностью натянута тонкая, как мембрана, пленка. Я существую будто в легком трансе. Хотя замешательство и смятение, которые я испытывал перед множеством трубопроводов, манометров, агрегатов и вентилей, и улеглись, теперь я знал, к каким балластным, уравнительным и дифферентным цистернам они идут и даже какими вентилями их можно перекрыть; маховики, рычаги, вентили и сплетение трубопроводов выстроились в наглядную систему, и теперь я испытывал своего рода чувство уважения к этому миру сугубо утилитарных механизмов, однако оставалось еще много такого, что я мог воспринимать лишь с изумлением, как сущее чудо.

Механик прямо-таки поставил себе цель удивлять меня снова и снова.

– Между прочим, подлодку можно подвесить за перископ, – как бы вскользь бросает он и уголком глаза наблюдает за мной, клюну ли я на это.

– Подвесить за перископ? – Я делаю удивленное лицо и, как от меня и ожидалось, одариваю его вопросительным взглядом.

– Да, – подтверждает стармех, – если я под водой застопорю машины, лодка подвсплывет или погрузится. Настолько незначительно, что не возникнет тенденции к всплытию или погружению, в результате мы даже не сможем ее сбалансировать. Мне, чтобы удержать подлодку на одной глубине, приходится использовать винты и рули.

Я киваю в знак того, что это ясно и понятно.

Тогда стармех поднимает бровь, глядит мне прямо в лицо и говорит:

– Но в тихую погоду очень хорошо выровненную лодку с застопоренными машинами я могу удерживать на перископной глубине. Делается это так: когда лодка с поднятым перископом обнаруживает тенденцию к погружению, ее объем в воде сразу возрастает, ведь части перископа, которые только что возвышались над поверхностью, погрузились в воду. Но если объем подлодки увеличился, то увеличивается и ее плавучесть, логично?

Стармех ждет, пока я кивну, и лишь после этого продолжает свою лекцию:

– В результате увеличения плавучести тенденция к погружению, только что существовавшая у лодки, устраняется и даже преобразуется в подъемную силу. И это также логично! Теперь подлодка снова подвсплывает, перископ высовывает-

ся, объем ее снова уменьшается, пока она опять не начинает погружаться. Так это и происходит – все время вверх-вниз, пока лодка постепенно не стабилизируется на перископе.

– Виртуозно!

По стармеху видно, что он еще далек от финала. Он лишь делает короткую паузу, прежде чем продолжить:

– Например, если какой-нибудь тип подлодки погружается в какой-нибудь луже…

Но тут я поднимаю обе руки в знак капитуляции. Стармех милостиво щадит меня и вместо того, чтобы продолжать наставление, делает пару основательных глотков из моей бутылки с яблочным соком.

Я до сих пор по-настоящему не разобрался во втором механике. Мне непонятно: он не воспринимает подначек командира то ли из тупости, то ли от недостатка сообразительности. Даже когда командир обращается к нему чрезвычайно предупредительно, это не вызывает у него никакой реакции. Вероятно, он совершенно лишен воображения, типичный продукт школы фенрихов, воспитывающей бравых безмозглых исполнителей, слепо преданных фюреру.

О его личной жизни мне известны лишь общие сведения, вряд ли больше, чем содержит его личное дело. Но и о других офицерах мне известно не больше.

Только о стармехе я узнал кое-что. Жена ждет ребенка. Мать умерла. В отпуске он навещал отца. «Неудачное мero-

приятие, – рассказывал мне стармех. – Поставил поднос, инкрустированный голубыми бабочками. Стаканчики полированного стекла. Самодельный ликер. Когда-то он был директором гидроэлектростанции. Я привез ему кое-какие продукты. Но он ничего не взял. Мол, они отняты у фронта и тому подобная чушь. По утрам он вышагивал у моей кровати взад-вперед, все время туда-сюда. И ни слова – только молчаливый укор. Комната, в которой я был вынужден жить, – кошмарный сон: «Сикстинская мадонна» в изголовье. Веточка березы на фоне открыток. В сущности, бедолага, несчастный вдовец. Ведь как живет: три раза суп и вечером пунш. Смешно, все в нем синее: лицо, руки, костюм – все синее. Перед сном он раскладывает свои вещи на четыре стула, потом снимает их, вновь складывает. Когда-то он сконструировал раковину для мытья посуды. Тем и живет – славой изобретателя. А теперь гнет из проволоки приспособления для приготовления голубцов и меняет их на что-нибудь съестное. Для завтраков он сам готовит себе пастилу из дрожжей. Страшная вещь.

«Вполне сносно, – однако считает он. – Угощаю дам. Важно иметь маленькие радости». Таков его девиз. Все время пытается доказать, что он не такой, каким кажется. Считает себя великим Нимродом. В бумажнике таскает истертую фотографию. «Моя страсть в тысяча девятьсот двадцать шестом году» написано на ней – так называемый дуплет. Знаю…»

По требованию Старика первый вахтенный по утрам читает афоризм дня из отрывного календаря:

– «У каждого больше всего выдается то, что у него всего естественнее» – Цицерон.

– Как-как? – живо переспрашивает стармех, и Старик тоже вдруг вскидывается.

Первый офицер хлопает ресницами, как всегда, когда что-то сбивает его с толку. Я прыскаю омлетом в проход. Первый вахтенный поспешно повторяет:

– «У каждого больше всего выдается то, что у него всего естественнее».

– Покажите-ка! – требует Старик с недоверием в голосе.

– С раннего утра сказануть такое! – наигранно возмущается стар-мех. – Ох уж этот Цицерон!

Первый вахтенный заливается краской.

– Ну же, ну же! – подгоняет стармех.

Листок переходит из рук в руки. Первый вахтенный опускает голову, словно собираясь смотреть поверх очков.

Позднее листок календаря оказывается у маатов. Пока я гадаю, как он к ним попал, Френссен дает пояснения:

– В лазарете он у нас тоже вставал с самого ранья – как Эйфелева башня. Там была одна медсестра, которая по утрам разносила утки. Она делала это, видимо, элегантнее всех, укладывала цыпленочка – этак на ладошке, – и в самом деле выходило славно…

– Вам следовало бы давать побольше брому, – подначивает из своей койки Дориан, Берлинец. Он слегка отдернул шторку и ухмыляется. Веснушки на носу и взъерошенные рыжие волосы ежиком придают ему наглое и плутовское выражение.

Бром. Во рту у меня сразу возникает привкус этого питья евнухов. В «Трудовой повинности» давно этим пользуются. Сначала мы гадали: что за гадость подмешивают нам в чай, пока до нас не дошло: бром! Мы называли эту бурду «полшестого».

– Этот из торпедного отсека, торпедист, – говорит Старик вслед одному человеку, который с носа прошел на корму. – У него кличка Топердист.

Проходит некоторое время, прежде чем он снисходит до объяснения:

– Это не производное от торпеды. Сразу и не сообразишь, верно? А дело было так: как-то одному из них я сказал: парнишка с этими усами выглядит как один киногерой из фильма «Топпер». А «лорды» тут же переделали это в топердиста, и поскольку этот герой не пользовался у них популярностью, они все и переиначили. Такие вот этимологи!

Вот мимо проходит Каттер, кок, и открыто ухмыляется командиру. У него на голове маленькое черное кепи, нахлобученное как бы в насмешку. Шея у кока настолько короткая и мощная, что почти незаметна под круглой головой. Крепкие мускулы перекатываются на обнаженных предплечьях.

– Кока нам уже трижды пришлось вытаскивать из тюрьмы телетайпом, – говорит Старик. – Теперь ему запрещено давать какой-либо отпуск. Мы просто больше не рискуем отпускать его в Германию.

«Смотри-ка, – думаю я, – вот он каков, наш вечно дружелюбно скалящий зубы кок! Так вот что хотел рассказать мне Старик…»

– Парень ведет себя так, словно в мире существует только один начальник и последняя инстанция – я. «Обратитесь лучше к моему командиру!» Какая преданная душа! У него склад ума овчарки: как только посторонний подходит к нему слишком близко, он сразу хватает.

Отлично могу представить себе, что происходит, когда кок, с Железным крестом 1-го класса и знаком подводника на груди, с развевающимися ленточками бескозырки набекрень на круглом черепе, натыкается на патруль полевой жандармерии.

Я вспоминаю о человеке с лодки Кальмана, которому жизнь спасла неприспособляемость к обычным военным формальностям: из-за небрежного приветствия его арестовали и посадили в какой-то бункер, когда подлодка его ушла в поход. Неделю спустя она затонула.

– К сожалению, кок между тем уже сообразил, что мало чем рискует со своей круглой рожей, – говорит Старик, – на лодке он нужен. Таких хороших коков, как он, в резерве больше нет. Коки с Железным крестом 1-го класса на дороге

не валяются.

Теперь моя очередь задать вопрос:

– За что же он его получил? – чтобы поддержать разговор.

– Он фантастически быстро среагировал, когда глубинная бомба сорвала камбузный люк. Поток воды уже хлынул ему навстречу, но он успел снова задраить люк. Если бы он этого не сделал, замешкался, подлодку уже было бы не удержать. Ведь водонепроницаемые переборки тогда оказались бы бесполезными. На таких лодках если хотя бы один из трех отсеков затоплен… ну, да сами понимаете!

В носовом отсеке. Вахтенный-новичок центропоста осторожно осведомляется, каков он, командир. Постовой дает ему разъяснения:

– Старик? Да, он забавный хрыч. Меня постоянно поражает, как он радуется, когда лодка возвращается. Я всегда говорю себе: «Тут что-то не так». Похоже, он обручен с одной наци-киской. Не так-то много известно. Вдова летчика. Видно, решила все перепробовать: сначала авиация, теперь морфлот. Старика там явно не очень усердно обслуживают. Дамочка, должно быть, большая гордыбака. Видели ее на одной фотке: ноги длинные, тощие, настоящий ураган, так-то вот. Нет, наш Старик все же заслужил кое-что получше.

– Наци-киски не бывают хреновыми, – раздаются возгласы.

– С чего вы взяли?

– Да ведь их чему только не обучают в рейхсшколах для невест. Например, они должны уметь вставить в задницу кусок мела и написать на доске «отто-отто-отто». Это вырабатывает в них гибкость!

Поднимается долго не прекращающийся гогот.

Наконец Жиголо пару раз откашливается, и постепенно водворяется тишина, полная ожидания. Когда больше никто не издает ни звука, Жиголо многозначительно изрекает:

– Все имеет свой конец, только у колбасы их два…

Дальнейшее описать нет никакой возможности.

Каждый раз, проходя по лодке, я в открытый люк радиорубки вижу радиста-маата Германа. Он загадочным образом притулился между досками столиков, на которых стоят его аппараты. В руках у него почти всегда книжка. Свою гарнитуру он надевает так, что на ухо надвинут лишь один наушник. Таким образом он одновременно может воспринимать морзянку и слышать команды по лодке.

Герман на борту лодки с самого спуска ее на воду. Его койка в унтер-офицерском отсеке напротив моей. Его отец, как узнал я у командира, был вахтенным офицером крейсера, с которым и утонул в 1917 году.

– У мальчика типичная судьба, – рассказывал командир, – сначала коммерческое училище, затем военный флот. С 1935 года служил радистом на крейсере «Кёльн», дальше радист-маат на торпедном катере, потом школа подводников

и участие со мной в операции в Норвегии. Он уже пару раз заслужил свой Железный крест. Да он заслужил и «яичницу».

Герман тихий и очень бледный. Как и стармех, по лодке он продвигается гибко и проворно, словно для него не существует никаких препятствий. Никогда я не видел у него равнодушного выражения лица, наоборот, на нем всегда написано напряжение. Это придает ему что-то звериное.

Он застенчив и замкнут. В обществе маатов держится особняком. Он и фенрих Ульман – единственные, кто не играет в скат, зато предпочитают читать.

Я склоняюсь над столиком Германа и слышу из его наушников тонкий писк, словно тихий стрекот насекомых. Пока никто из нас, в том числе и Герман, не знает, нам ли предназначено предписание, в этот самый миг отданное за сотни, а то и тысячи миль от нас.

Радист-маат поднимает глаза; взгляд его вновь становится напряженным. Он достает из своего шкафчика и протягивает листок бумаги с бессмысленным набором букв. Второй вахтенный офицер забирает его и тотчас начинает торопливо расшифровывать.

Всего через несколько минут текст у него уже дешифрован: «Командующему подводным флотом. Из каравана потоплено два парохода водоизмещением 5000 и 6000 тонн. Семь часов подвергаюсь глубинному бомбометанию. Оторвались. Буду продолжать преследование. UW».

Второй вахтенный вносит текст дешифрованной радиограммы на бланк и отдает командиру для ознакомления. Командир подписывает бланк и передает его дальше. Первый вахтенный прочитывает и тоже подписывает его. Затем второй вахтенный возвращает бланк радисту. Из радиорубки навстречу ему протягивается рука радиста.

Типичная радиограмма, в скупых выражениях излагающая ход атаки: успех, временный отход после семичасового преследования глубинными бомбами и продолжение преследования, несмотря на контратаки противника.

– Одиннадцать тысяч тонн – недурно. UW – это Бишоф, – говорит Старик, – этак скоро он заработает одышку от орденов на шее!

И ни слова о семичасовом преследовании глубинными бомбами. Старик делает вид, будто в радиограмме об этом ничего не говорилось.

Прошло всего несколько минут, а наш радист уже протягивает новый бланк. На этот раз радиограмма командующего на подлодку, находящуюся высоко в северных широтах. Ей следует полным ходом идти в новый оперативный район. Видимо, в этом районе предполагается прохождение конвоя. Теперь невидимые нити радио тянут лодку в определенное место в Атлантике. Находясь на расстоянии свыше тысячи миль от командного пункта, она управляется дистанционно. Она начнет охоту, невидимая для противника. На огромной карте в оперативном отделе штаба командования теперь пе-

реместится один из красных флажков, обозначающих положение подлодки.

Спокойное подводное плавание во время ежедневных учебных погружений в носовом отсеке используется для подготовки торпед.

Носовой отсек превратился в мастерскую. Гамаки подвязаны, койки подняты. Люди сняли рубашки. Сейчас они зачаливают тали на рельсы. Затем открывают внутреннюю крышку первого торпедного аппарата. Горизонтальными талями из трубы немного выдвигается первый густо смазанный, толстый, матово поблескивающий «угорь». По команде торпедиста-маата все, словно при перетягивании каната, повисают на горизонтальных талях. Медленно наполовину уже вышедшая торпеда теперь полностью выплывает из трубы. Сейчас в полуподвешенном состоянии она лежит на рельсах, и, несмотря на вес в тридцать центнеров, ее легко передвигать взад-вперед и в обе стороны.

– Шикарный обрубок, а? – спрашивает меня Арио и декламирует: «Кто дело знает, но пашет как вол, тот явно с ума сошел».

У каждого своя задача: один проверяет, запускается ли мотор, другой – свободно ли вращаются все подшипники и валы. Подсоединяются шланги, и в резервуары торпеды закачивается сжатый воздух, рули направления и глубины перебираются и в местах смазки шприцуются маслом. С мно-

гократными возгласами «Взяли!» «угорь» снова загоняется в трубу торпедного аппарата.

Затем та же процедура производится со второй торпедой. Парни, похоже, входят в раж.

– А ну, вынимай папу из мамочки, – орет Дунлоп, – иначе дело не пойдет! Стоит толпа людей, а он не хочет выходить! А ну-ка, навались, лодыри! Одни альфонсы и ни одного, кто думал бы вкалывать!

Когда в конце работ крышка трубы торпедного аппарата задраена, тали убираются с рельсов, рельсы найтовятся вдоль борта и блоки закрепляются. Теперь можно опустить и койки. Постепенно помещение вновь приобретает прежний жилой вид. Личный состав торпедного отсека утомленно опускается на корточки на решетки палубы, под которыми загрузочное устройство второй торпеды.

– Скоро, скоро эти звери вырвутся на свободу, – ворчит Арио.

О снарядах для 8,8-миллиметровой пушки заботиться никому не нужно. А вот за очень капризными торпедами необходим постоянный уход. Ведь это даже не снаряд, а маленькое судно с чрезвычайно сложными механизмами. Помимо рулей направления, как у любого обычного судна, у них есть еще и рули глубины. В целом их можно даже назвать маленькими автономными подводными лодками, нагруженными 350 килограммами тринитротолуола.

Раньше говорили не «выстрелили торпедой», а «пусти-

ли торпеду». Это точнее отражает суть дела: ведь мы просто выталкиваем наружу из труб и направляем точнейшие, весом восемьдесят центнеров подводные механизмы. А там уже они движутся самостоятельно – с помощью сжатого воздуха или электричества – и удерживают заданный курс.

Четыре из четырнадцати торпед в носовых торпедных аппаратах, одна – в кормовом: типа G-7A, парогазовая торпеда с резервуаром сжатого воздуха и керосином. У двух – контактные взрыватели, у трех – дистанционные. Контактные взрыватели при ударе о судно воспламеняют заряд, который проделывает в борту пробоину. Сложные и оттого капризные неконтактные дистанционные взрыватели с магнитной взрывной системой воспламеняют идущую на соответствующей глубине торпеду в момент ее прохождения под судном. Таким образом ударная волна взрыва разрушает конструктивно слабые места.

Дни бегут в постоянном чередовании вахт и подвахт. Продолжительность вахт одинаковая, как это принято на всех судах в мире: мотористы стоят шестичасовую вахту, моряки – три вахты по четыре часа. После четырех часов вахты у моряков восемь часов отдыха.

Первая вахта у первого вахтенного. Вторая – у второго. Третья вахта у старшего штурмана.

Первая вахта – я вижу это ясно – вызывает у Старика озабоченность. Хотя первый вахтенный и чрезвычайно старателен, но это не может ввести Старика в заблуждение. Он счи-

тает его бестолочью. Счастье, что в этой вахте Цейтлер. Когда Цейтлер на мостике, он просто преображается. Приставив бинокль к глазам, он полностью концентрируется на наблюдении за своим сектором обзора, сексуальные фантазии, похоже, напрочь позабыты.

Я должен заменить заболевшего, по-видимому гриппом, Йенсена, который несет вторую вахту на ходовом мостике. Итак, ночная вахта с четырех до восьми часов судового времени.

Три часа судового времени, когда я просыпаюсь на полчаса раньше срока. В центропосту тихо. Лампы прикрыты. Меня снова посещает ощущение, будто отсек не имеет пределов.

В центропосту спрашиваю о погоде.

– Волнение не сильное, но холодно!

Это означает: шерстяной шарф и толстый рыбацкий свитер и, вероятно, даже шерстяной капюшон под зюйдвестку. Я собираю свои манатки, потом медленно озираюсь вокруг.

Мои глаза уже привыкли к полумраку. Я различаю каждый узел, каждую деталь оборудования и повторяю их названия беззвучным движением губ, словно мне необходимо занести их в реестр и одновременно проверить, все ли на своих местах: оба индикатора оборотов гребных валов, штурманский столик с пригнутой лампой на кронштейне над ним, оперативный район с проложенным нашим курсом; ящик с картами, этот металлический монстр-сундук объемом в доб-

рых два кубометра, с картами всех морских районов, куда мудрая воля командующего может направить нашу подлодку, – коллекция, которую вряд ли найдешь на каком-либо другом судне; эхолот, который пока еще не использовался; опреснитель; центральный пульт. Все это еще легко можно охватить взглядом, а вот дальше начинается неразбериха: маховики и изогнутые рычаги для продувки разных балластных цистерн.

Узнаю рычаг переключения на ручное управление горизонтальными рулями. С правого борта – сразу справа от штурвала руля глубины – куча маховиков, расположенных друг над другом, почти целиком заполнивших тесное пространство между прочным корпусом и шахтой перископа: «елочка» распределительных коллекторов продувки, высокого и низкого давления.

Для каждой балластной цистерны здесь есть свой вентиль. Маховики над елочкой – распределители продувки уравнительной цистерны. Здесь сходятся трубопроводы всех баллонов высокого давления.

Я распознаю также и штуцеры низкого давления, питающиеся от трубопроводов высокого давления через редукторы-автоматы. (Воздух из баллонов не может подаваться напрямую в балластные цистерны, поскольку у него слишком высокое давление. Корпус цистерны его не выдержал бы, потому давление сначала необходимо снизить.) А подо мной переплетение трубопроводов со множеством махови-

ков для приема и откачки балласта. Вплотную к ним примыкает нагнетательный маслонасос перископа. Водомерные стекла несомненно предназначены для уравнительных цистерн.

Ближе к корме, между трубами на прочном корпусе – пока еще слабо различимые серые металлические коробки с круглыми отверстиями для разнообразных циферблатов: пусковые устройства торпедных аппаратов; переключатель перископа для горизонтального и вертикального обзора, для управления отдельными торпедными аппаратами; для управления одиночным и залповым огнем; для управления стрельбой кормовым и носовыми аппаратами; компасы, эхолот, опреснитель. С торцевой стороны – управление вертикальным рулем. Хотя главный пост расположен в ходовой рубке, но, если он выйдет из строя, когда рубка повреждена или полностью снесена, лодкой можно будет управлять отсюда.

Вот объявились и другие сигнальщики в центропосту: Берлинец и фенрих.

– Замечательно холодно, – наконец говорит старшина, – вторая подряд дерьмовая вахта! – И сразу после этого отчетливо: – Пять минут до вахты!

В этот момент через люк водонепроницаемой переборки пролезает второй вахтенный, настолько укутанный, что его лицо между зюйдвесткой и воротником выглядывает как из смотровой щели.

– Доброе утро, матросы!

– Доброе утро, господин лейтенант!

Второй вахтенный изображает бодрячка. И первым взбирается наверх. Существует негласная договоренность менять старую вахту за пять минут до окончания.

Первый вахтенный, которого мы сменяем, сообщает второму вахтенному курс и количество оборотов дизелей.

Мой сектор обзора – корма по правому борту. Глаза быстро привыкают к темноте. Небо чуть-чуть светлее аспидного моря, так что линия горизонта четко выделяется. Воздух очень влажный. Стекла бинокля быстро запотевают.

– Кожу для протирки на мостик! – кричит второй вахтенный вниз.

Но проходит всего ничего, а кусочки замши уже насквозь мокрые и только размазывают влагу. Вскоре в глазах появляется резь, приходится постоянно на несколько секунд их зажмуривать. Никто не произносит ни слова. Вибрация моторов и шипение воды быстро становятся шумами, к которым привыкает слух. Лишь время от времени кто-нибудь стукается коленками о стенку ходовой рубки, и она глухо гудит.

Когда сигнальщик по левому борту вздыхает, второй вахтенный офицер оборачивается и призывает:

– Будьте внимательны, господа. Вперед смотреть!

У меня зачесалась шея. Но я закутан, как мумия. Нет никакой возможности почесаться как следует. Любая обезьяна может чесаться сколько захочет! Но сейчас я не могу возить-

ся со своими шмотками. Ведь второй вахтенный начинает нервничать, стоит даже кому-нибудь расстегнуть пуговицу.

Второй вахтенный из предместья Гамбурга. Должен был учиться в университете, но отказался. Зато изучал банковское дело. После этого ушел добровольцем на флот. Это все, что я знаю о нем. Он – счастливая натура, уважаем как командиром, так и командой; человек, который, не теряя собственного достоинства, несет службу добросовестно, с непринужденной естественностью, без особой помпы. Хотя тем самым зарекомендовал себя сторонником такого отношения к службе, которое вовсе не разделялось первым офицером, единственным, кто в какой-то степени поддерживает с ним отношения.

Море за кормой фосфоресцирует. Черное ночное небо. Черный бархат с рассыпанными по нему бриллиантами: звезды ярко сияют на небосводе. Луна не сияет. Свет ее бледен, и немощен, и слегка зеленоват. Похожа на перезрелую дыню. Обзор поверх воды очень плохой.

Пара облаков накатываются на луну. Теперь линия горизонта почти неразличима. Но что это? Тень на горизонте? Доложить? Или подождать? Нет тени? Просто облака? Будь они прокляты, все эти облака необычной формы! Я вглядываюсь настолько пристально, что на глазах выступают слезы, пока не убеждаюсь: ничего нет, никакой тени.

Шмыгаю носом, чтобы лучше обонять. Некоторые в непроглядные ночи обнаруживали конвой по запаху широко

расстилающихся полотнищ едкого дыма или отработавших выхлопных газов судов.

– Темно, как у негра в заднице, – чертыхается второй офицер, – так мы можем наскочить прямо на томми!

Огни в море можно не искать. Томми очень следят за тем, чтобы не показывать огней. Даже тлеющий огонек сигареты мог бы их выдать.

Цейссовский бинокль тяжел. Руки постепенно немеют. Плечевые мышцы начинают болеть. Снова одно и то же упражнение: бинокль на несколько секунд оставляешь болтаться на ремне, вытягиваешь руки, начинаешь вращать ими, будто это плети, свободно прикрепленные к туловищу. Потом снова поднимаешь отяжелевший бинокль, прижимаешь окуляры с резиновыми кольцами к бровям, пальцами уравновешиваешь вибрацию корпуса подлодки. И снова в поисках противника обшариваешь девяносто градусов горизонта и моря. Чрезвычайно медленно ведешь бинокль из одного конца сектора в другой, ощупывая горизонт миллиметр за миллиметром. Потом отводишь бинокль и невооруженным глазом охватываешь весь сектор, окидывая взглядом небо, и вновь обшариваешь линию горизонта слева направо, миллиметр за миллиметром.

Время от времени ветер взметает несколько брызг. Тогда впередсмотрящие одеревенело сгибаются, прикрывая линзы бинокля руками и телом. Когда облака закрывают луну, вода окрашивается в черный цвет.

Умом я знаю, что Атлантика в этом месте глубиной минимум три тысячи метров. Три тысячи метров под килем. Но у меня такое ощущение, будто под мерное гудение дизелей мы скользим по твердой поверхности.

Время тянется медленно. Все сильнее искушение сомкнуть веки и с закрытыми глазами отдаться движению подлодки, наслаждаясь убаюкивающими подъемами и спусками.

Хочется спросить второго вахтенного о времени, но я пересиливаю себя. На востоке над горизонтом уже занимается блекло-красный отсвет. Жидкий бледно-красноватый рассвет в силах окрасить лишь тонкую полоску, поскольку над горизонтом тянется стая иссиня-черных облаков. Пройдет много времени, прежде чем свет за ними разгорится и опалит огнем их края. Нос лодки теперь кажется бесформенной темной массой.

Проходит время, пока небо не светлеет настолько, что я могу разглядеть на верхней палубе каждое ребро решетки. Постепенно становятся различимыми лица остальных трех вахтенных: усталые, посеревшие.

Вот кто-то поднимается помочиться, подставляет лицо ветру и затем направляет струю с подветренной стороны через леера «зимнего сада». Слышно, как струя разбивается о верхнюю палубу. Резкий запах мочи бьет в нос.

Вновь снизу доносится вопрос:

– Разрешите на мостик?

Один за другим люди поднимаются дохнуть глоток свежего воздуха и помочиться. Мой нос чувствует запах сигарет, до слуха доносятся обрывки разговоров.

– Не хватает только презервативов – и бордель готов.

Некоторое время спустя второй вахтенный отдает рапорт. На ходовом мостике возникает командир, – он появился совершенно тихо. Мельком глянув искоса, я заметил его лицо, освещенное багровым отсветом тлеющей сигареты. Но тут же призываю себя к порядку: не прислушиваться, не отвлекаться, стоять неподвижно, не уводить взгляда из сектора. У меня только одна задача: наблюдать!

– Трубы с первой по четвертую – крышки открыть!

Ага, Старик снова собирается провести торпедные учения. Не оборачивая головы, я слышу, как первый вахтенный дает угол стрельбы. Затем снизу поступает доклад:

– Крышки с первой по четвертую – открыты!

Снова и снова первый вахтенный передает свои монотонные заклинания. А Старик не произносит ни звука.

Линия горизонта становится все резче. На востоке по ней уже широко разлился свет. Вскоре он захватил весь небосвод. Теперь в промежутке между горизонтом и иссиня-черными облаками занимается багровый пожар. Ветер свежеет, и вдруг на востоке всплывает полыхающий край светила. Солнце является из глубин. Вот уже змеи багрового пламени извиваются по воде. Я бросаю мгновенные взгляды на солнце и горящее небо, поскольку ослепительный свет слов-

но специально создан для вражеских самолетов. Уже достаточно светло, чтобы они смогли обнаружить лодку по кормовой волне, а вот для нас еще слишком темно, чтобы быстро опознать самолеты на фоне неба.

Проклятые чайки! Они истрепали столько нервов. Хотелось бы знать, сколько тревог было поднято по их милости.

Я радуюсь, что мой сектор не со стороны солнца.

Первый вахтенный офицер продолжает командовать:

– Трубы с первой по третью готовы… залп первым и третьим аппаратами… удаление четыреста… рассеяние восемьдесят… вопрос: место?

– Место восемьдесят, – раздается снизу.

Море уже полностью очнулось. Короткие волны вспыхивают светом дня. Наш бак сверкает. Теперь небо поочередно расцвечивается в желто-красный, желтый и затем бледно-зеленый колер.

Голубоватый шлейф выхлопных газов дизелей достиг пары ажурно-розовых облаков. Наш след за кормой отбрасывает тысячи солнц. Мой сосед поворачивает ко мне лицо. Оно покрыто солнечным румянцем.

Внезапно далеко в искрах мелких волн обнаруживаю две темные точки… и вот они уже снова пропали. Что это было? Сигнальщик с правого борта также увидел эти точки.

– Дельфины!

Они приближаются как плохо направленные торпеды – то в воде, то выскакивая на воздух. Кто-то из стада заметил под-

лодку, и теперь они будто по сигналу примчались к нам. Вот они уже по траверзу с обоих наших бортов. Их, должно быть, несколько дюжин. Брюхи животных отливают светло-зеленым. Потом они, будто корабль носом, вновь прорезают воду вертикальными спинными плавниками. Без всяких усилий они держат скорость лодки. Это не плавание, скорее прыжки и небольшие повороты. Вода словно не оказывает им никакого сопротивления. Я вынужден воззвать к самому себе: не глазеть, наблюдать за сектором!

Теперь порывы ветра взметают зыбь. Постепенно небо хмурится. Свет сочится сверху как сквозь горизонтально подвешенное матовое стекло. Вскоре наши лица покрываются влагой от водяной пыли. Качка увеличивается.

Дельфины беспрепятственно уходят от лодки.

После вахты у меня такое ощущение, словно глаза вылезли из орбит: глаза-щупальца. Подушечками больших пальцев я вправляю глазные яблоки в глазницы.

С большим трудом мне удавалось двигать затекшими конечностями, когда я стал выбираться из непромокаемой одежды и совершенно обессиленный добрался до койки.

В помещении слишком тепло. На лбу мгновенно выступает пот. Я сбрасываю одеяло. Сквозь щелку в прикроватной шторке в лицо бьет свет. Тонко повизгивает музыка по приглушенной трансляции. Гудение дизелей я уже не воспринимаю как шум, а скорее как состояние воздуха. За бортом беспрестанно шелестит и шумит, ударяет и стучит вдоль всей

лодки. Затем опять что-то словно чавкает и скребет, временами будто стонет, неотрывно от шумных стуков и ударов. Это удары волн иногда раздаются глухо, как в барабан с плохо натянутой кожей, потом опять резко и пронзительно, будто в железную кастрюлю. Голоса из центрального поста доносятся сюда словно бы издалека.

До смены вахты еще час. В тысячный раз разглядываю текстуру деревянной панели: неразгаданная загадки природы. Обегающие сучок линии выглядят как видимые глазу потоки воздуха, срывающиеся с плоскостей самолета.

И вдруг я подскакиваю от сигнала тревоги.

Вываливаюсь из койки и нетвердо стою на палубе, голова едва способна что-либо соображать. На вахте старший штурман. Что же там могло случиться?

Когда пытаюсь влезть в сапоги, попадаю в водоворот. Весь отсек неожиданно наполняется лихорадочной суетой. Из камбуза потянуло сизым чадом. Показывается физиономия какого-то моториста. С нарочитым равнодушием в голосе он спрашивает унтер-офицерский отсек:

– Ну, чего еще там?

– Драчка затевается, болван!

Лодка все еще в горизонтальном положении. Что бы это могло значить: тревога, а лодка еще в надводном положении?

– Отбой тревоги! Отбой тревоги! – вдруг разносится из громкоговорителей, и наконец поступает донесение из цен-

тропоста:

– Ложная тревога!

– Что? Как это так?

– Рулевой по ошибке включил ревун тревоги!

– Черт бы его побрал!

– Кто эта чертова задница?

– Маркус!

На секунду повисает тишина, после чего все приходят в бешенство.

– Я бы с чистой совестью выбросил эту глупую свинью за борт!

– Дерьмо вонючее!

– Ну и немытая задница!

– Тебе обязательно вставить свое словечко!

– Поди скажи моей бабушке…

– Ах, да заткнитесь!

– Такого болвана, как ты, стоило бы употреблять вместо кранца.

– На океанских пароходах!

В воздухе запахло потасовкой.

Старший штурман вне себя. Хотя не говорит ни слова. Зато глаза его мечут молнии.

Счастье для рулевого, что он сидит наверху в рубке. Старший механик тоже глядит, словно растерзал бы его, попадись он ему в руки.

Когда я залезал обратно в койку, мааты все еще давали

волю своему возмущению:

– Попалась бы мне эта глупая свинья – я б ее уделал!

– Такому придурку стоило бы быть внимательным!

– Ну, так просто это ему не сойдет!

Раздается громкий звук пускаемого ветра. Сквозь щелку в шторке вижу, как после этого Берлинец поднимается и отвешивает поклон:

– Как мило!

– Каналья!

Слышу, как стонет Цейтлер:

– Спокойно, засранцы!

Политики в офицерской кают-компании не касаются. Но и в разговорах со мной Старик, иронически кривя губы, решительно пресекает любой серьезный диалог, как только он переходит в политическую плоскость. На вопросы о смысле и шансах войны наложено строгое табу. При этом нет никакого сомнения, что Старик, когда он целыми днями бывает погружен в себя, тяжко обдумывает именно эти вопросы, а отнюдь не свои личные проблемы.

Старик маскируется. Лишь изредка он приоткрывает щелку визира, отваживаясь на двусмысленные замечания и на какое-то мгновение позволяя понять его настоящее мнение.

В особенности когда он разгневан – сводки новостей по радио почти всегда приводят его в ярость, – то откровенно

высказывает свое отвращение к нацистской пропаганде:

– Они называют это кровопусканием на морских коммуникациях! Давай тоннаж! Идиоты! Тоннаж! А ведь речь при этом идет о судах с хорошими мореходными качествами. Эти своей подлой пропагандой делают из нас своего рода исполнителей приговора: отправить на слом, режьте…

Груз потопленных судов, который для противника в большинстве случаев гораздо ценнее самих посудин, его практически не интересует. Сердце Старика болит за суда. Судно для него – живое существо с размеренно бьющимся машинным сердцем. То, что ему приходится топить суда, вызывает у него отвращение.

Часто я спрашиваю себя: как же Старик справляется с неизбежным внутренним раздвоением? Похоже, все проблемы он сводит к простому знаменателю: топить, чтобы не потопили самого. Смириться с неизбежностью, похоже, его девиз. Но с высокими словами к нему лучше не приставать.

Иногда меня подмывает выманить его из ракушки, спросить, не вводит ли он и себя в заблуждение, правда, более сложным образом, нежели большинство. Не относится ли к ним масса иллюзий, предназначенных для того, чтобы суметь выжить с убеждением, что понятие «исполнение долга» способно заглушить все сомнения. Но Старик каждый раз искусно уходит от меня. Больше всего пока я узнаю по его антипатиям и неприязни.

Старик постоянно задирает первого вахтенного офицера

и нового механика.

Уже одна педантическая чопорность, с которой тот садится за стол, выводит Старика из себя. К этому добавляется демонстративная чистоплотность. Поведение за столом первого вахтенного также бесит Старика. Тот обращается с ложкой и вилкой как с хирургическими инструментами. Даже каждую сардинку в масле он вскрывает, словно патологоанатом. С чрезвычайной тщательностью сначала вынимает хребет, затем старательно снимает кожу, не оставляя ни микроскопического кусочка. Старик наблюдает за всем этим исподлобья. Он зачарованно смотрит на операционное поле, но озлобленно молчит.

Помимо сардинок есть еще один сорт сухой колбасы с необычайно тонкой шкуркой, которая никак не желает сниматься. Это излюбленный объект для патологоанатомических упражнений первого вахтенного. Он удаляет кожицу исключительно крохотными кусочками. В складках сморщенной усохшей колбасы она вообще не удаляется. Поэтому все, кроме первого вахтенного, жуют сухую колбасу вместе с оболочкой. Хотя первый вахтенный трудится над ней с ножом и вилкой целую вечность, ему, естественно, не удается удалить шкурку. Поэтому в конце концов он обрезает колбасу вкруговую настолько глубоко, что ему самому почти ничего не достается. Тут Старик уже не в силах сдержаться: «Мусорное ведро уже клацает пастью от нетерпения!» Только это слишком мелкий камешек в огород – до первого вах-

тенного не доходит. Он лишь отстраненно взглядывает вверх и продолжает строгать и обтесывать.

Новый механик точно так же Старику не по вкусу. По-видимому, в новичке его раздражали в первую очередь вульгарные улыбки и самодовольная манерность.

– Он туповат, а? – недавно допытывался Старик у стармеха.

Старший механик только закатил глаза и принялся раскачивать головой, как китайский болванчик в витрине, словно Старик подсматривал за ним.

– Ну что такое, стармех. Давайте выкладывайте! – настаивал Старик.

– Трудно сказать! Одно слово – нордический тип, – уклонился стармех.

– Но весьма нерасторопный нордический тип. Именно то, что требуется для должности стармеха, – язвит Старик, – точь-в-точь, что надо! – И через некоторое время: – Мне просто не терпится избавиться от него.

Тут является и сам второй механик. Я пристально разглядываю его: с квадратным подбородком и голубоглазый, настоящая фотомодель для обложек ученических тетрадей. Вместе с флегматичной вялостью он противоположный портрет сжатого как пружина старшего.

Поскольку в кают-компании второй механик мало общается, он больше держится фельдфебелей. Командир не очень одобрительно смотрит на подобное нарушение субордина-

ции и краем глаза приглядывает за вторым механиком, когда тот скрывается в кают-компании унтер-офицеров. Толстокожий во всем, второй механик и тут ничего не замечает, присаживается, благо как раз есть свободное место, рядом на диванчик и немного отпускает наплечные ремни портупеи. Неудивительно, что непринужденной атмосферы не возникает, когда за баком сидят первый вахтенный и второй механик.

Разговоры тогда ведутся абсолютно нейтральные. На щекотливые темы ставится крест. Но иногда Старика прорывает. Так однажды за завтраком он сказал:

– Похоже, господа в Берлине с ног сбились, придумывая Черчиллю обидные прозвища. Как его теперь именуют в официальной печати, старый пират? – Старик с нетерпением ждет. Не получив ответа от компании за столом, он дает его сам: – Пьяницей, алкоголиком, паралитиком… Должен признать, что для пьяного паралитика он довольно славно задает нам жару.

Первый вахтенный сидит за столом с упрямым выражением лица, прямой как палка. Он словно бы больше не воспринимает мир. Стар-мех застыл в своей обычной позе – руками обняв колено – среди тарелок, словно обнаружил там нечто необычное.

Гробовое молчание.

Командира это не смущает.

– На колени его еще долго не поставить: неизвестно, как

много их судов прорывается. Прорывается сейчас, именно сейчас, пока мы тут дурака валяем и мух ловим.

Вслед за этим командир начинает вести себя так, словно не желает портить себе настроения.

– Музыки здесь не хватает, пусть наш фюрер гитлерюгенда поставит какую-нибудь пластинку.

Хотя никто не посмотрел в сторону первого офицера, тот чувствует себя задетым и, багровея, вскакивает. Старик кричит ему вслед:

– «Типперэри»[17], с вашего позволения!

А когда первый вахтенный возвращается и по лодке гремят первые такты, он подначивает его:

– Ведь вашему мировоззрению эта пластинка не повредит, первый вахтенный офицер? – И затем, многозначительно подняв палец кверху, объявляет обществу: – Голос его господина – но не нашего!

В носовом отсеке, подтянув колени, я присаживаюсь прямо на настил, вплотную к водонепроницаемой переборке, поскольку в носовом отсеке иначе и невозможно: подо мной торпеды, спина упирается в разделительную переборку.

– Сюда бы общество по охране животных – вот было бы шуму. Поселить бы здесь кошек или собак, боже мой!

– Лошадей в шахтах использовать и то запретили – из со-

[17] «Типперэри» – известная английская солдатская песня – марш, популярный с времен Первой мировой войны.

чувствия к живым тварям. А вот до нас никому нет дела!

Здесь разговаривают не стесняясь. Нет того мучительно-натянутого состояния, что в офицерской кают-компании. Заводилы всегда одни и те же: Арио, Турбо. К ним присоединяются Дунлоп и Топердист. Некоторые воздерживаются от диспута, поскольку у них недостаточно хорошо подвешен язык, они помалкивают, когда другие треплются и задаются друг перед другом, забравшись в свои койки и гамаки, как пугающиеся света животные в свои норки.

– Как-то одна шлюха написала мне на спину, – раздается голос из гамака, – братцы, вот это было очущение!

– Ты большая свинья, да будет тебе известно!

– Ощущение! Это совсем иное дело! – поправляет Арио. – У нас на пароходе был один тип, который всегда говорил: вставь в бутылочную пробку иголку, вдень в нее струну от скрипки и засунь пробку себе в задницу – вот это будет музыка!

– Не сложновато ли?

– Зато такое было бы мурлыканье!

Откуда-то спереди слышу обрывок фразы:

– Эмма до сих пор не знает, откуда ей ребенка надуло.

– Как это так?

– Как так, как так! Бог мой, не будь придурком – если голой задницей усесться на пилу, сможешь сказать, какой зубец тебе ее пропорол?

Всеобщий гогот. Кто-то стонет:

– О люди, люди, боже мой!

Впервые я вижу старшего моториста на ходовом мостике. Здесь на ярком свету он выглядит еще более изнуренным и измученным, нежели в свете электрических ламп внизу, в машинном отсеке.

Хотя он только что поднялся, его трясет от холода как больного в постели.

– Свежий воздух непривычен, Иоганн? – спрашиваю я.

Вместо ответа, он лишь презрительно смотрит поверх фальшборта с выражением какого-то отвращения. Вид моря, отчетливо дает он понять, не вызывает в нем ничего, кроме неприятного чувства. Таким недовольным я его еще не видел. Обычно взгляд его выражает удовлетворение, но тогда он отдыхает у своих трубопроводов и манометров. Отсвечивающие серебром фундаменты электродвигателей для него – истинная основа жизни, тонкий аромат горячего масла в воздухе – услада для его легких. Но здесь эта дикая природа – фу, к черту! Он с видимым отвращением дает понять, что, возможно, морской пейзаж для таких примитивов, как моряки, и отраден, но не для специалистов, которые на «ты» со сложнейшими механизмами.

Угрюмо и дрожа всем телом, Иоганн скрывается внизу.

– Сейчас он будет рыдать у своих машин из-за свирепого, злого моря, – язвит второй вахтенный ему вслед. – Забавные дураки, этот народ из машинного отделения. Вероятно, све-

жий воздух раздувает им легкие, дневной свет обжигает глаза, а морская вода для них – настоящая соляная кислота.

– Но не для стармеха, – размышляю я вслух.

Ответ второго вахтенного не заставляет себя ждать:

– Но он же у них извращенец!

Для меня спасение постоять на мостике.

Счастье, что помимо вахтенных на ходовом мостике есть место еще для двоих. Я пользуюсь любой возможностью взобраться наверх, как только она представляется. Стоит мне высунуть голову в рубочный люк, как мной овладевает чувство освобождения: я вырываюсь из машинного загона, из тесноты переборок, из атмосферы испарений, смрада и влаги на свет и свежий воздух.

Сначала я отмечаю на небе признаки погоды, затем быстро обшариваю взглядом горизонт. Только после этого я верчу головой влево-вправо и, наконец, взад-вперед. Сквозь пару разрывов в облаках можно заглянуть в глубины космоса. Небо предлагает моему взору неизменную картину: огромный калейдоскоп, в котором часами складываются все новые и новые узоры.

Я отмечаю, что панорама неба развертывается перед нами в течение суток: сейчас, например, небо вверху темно-синее. Все разрывы в торопливо расстилающемся покрывале облаков окрашены в насыщенный голубой. Лишь у горизонта покров истончен, и синий цвет тут жиже, будто разбавлен водой. Впереди над линией горизонта еще висит немного крас-

ного, а над ним одиноко плавает темное, фиолетово-синее облако.

За кормой вскоре начинается нечто удивительное: ровно посередине разливается влажная серо-голубая струя, смешивающаяся с потоком блеклой охры, восходящей от горизонта. Пограничная область сначала принимает грязный зеленый оттенок, но затем начинает пропитываться изнутри матовым, горящим голубым цветом, в котором еще сохраняется зеленоватый отлив: веронская лазурь.

Точно в полдень серебристо-серый цвет заполоняет все небо. Ватные кучки исчезли, лишь пара шелковистых перистых облачков тянут свой шлейф через солнце, рассеивая его свет серебристым мерцанием и переливами. Разливается тихая пастораль светлых и нежных оттенков, как на внутренней стороне перламутровой раковины.

Во второй половине дня по правому борту за темно-синими облаками загораются желтые и оранжевые полосы. Цвет их насыщен, густ, почти маслянист. Темно-синие облака вздымаются вверх, как дым от степного пожара. Просто какое-то африканское небо. Я воображаю Столовую гору, акации, жирафов, гну и антилоп.

По левому борту в далекой дали среди кучи грязных облаков на небе вспыхивает радуга. Посередине дуги плавает темный комок, будто разрыв от шрапнели.

Поздно во второй половине дня задник небесной сцены основательно меняется. Превращения происходят не только

благодаря паре развешенных занавесей и перемене красок, начинается настоящая процессия облаков, быстро покрывающих все небо.

Как если бы игра форм была еще недостаточно устоявшейся, сквозь разрыв проглядывает солнце, пуская косые стрелы через клубящиеся облака.

После ужина я снова забираюсь на мостик. День утомился. Он гаснет. От его света вскоре тут и там остаются лишь пятна на облаках, которые строем, будто шарики в арифмометре, плавают друг за другом в западной части неба. Вскоре взгляд притягивает уже только небольшой клочок ваты, сохранивший последний отблеск света. Над горизонтом на короткое время вспыхивает пожар заходящего солнца. Но и он вскоре гаснет. И вот день кончился. На востоке ночь отвоевала всю высоту неба. Вода приобретает фиолетовый оттенок. Шум ее становится все явственней. Словно дыхание спящего, под днищем лодки прокатываются волны.

Поскольку вот уже двое суток старший штурман не может определить координаты, он ходит с кислой миной. Звезды постоянно закрыты плотными облаками. Старший штурман мог помочь себе лишь тем, что примерно каждые два часа отмечает на карте пройденный путь с курсом. Но поскольку ветер и волнение сносят подлодку, а старший штурман не может определиться точно, он не в состоянии сопоставить расчетное местонахождение судна с фактическим.

Я заглядываю через плечо старшего штурмана. Сейчас он не орудует циркулем и линейкой, а листает атлас течений, чтобы установить снос судна. Затем пытается по карте, которая, по наблюдениям рейсовых пароходов, дает предположительные прогнозы погоды и направления ветров на каждый месяц для различных морских регионов, угадать погоду ближайших дней и недель. Наконец по таблицам он рассчитывает время восхода и захода луны и наступления темноты для ближайших дней.

При смене вахты мотористов в полночь я регулярно просыпаюсь. Машинная вахта – заступающие и сменяющиеся – проходит через отсек унтер-офицеров. При этом некоторое время оба люка в отделение двигателей открыты. Шум дизелей с ревом врывается в помещение, и механизмы мощными вдохами всасывают воздух, так что шторки на моей койке начинают трепетать. Пробираясь мимо неубранного бака, кто-нибудь из сменившихся приподнимает его. Проходит целая вечность, прежде чем водворяется тишина.

Я лежу с закрытыми глазами, пытаясь заставить себя не слышать голоса вахтенных. Я буквально цепляюсь за сон. Но вот опять вспыхивает освещение. Свет лампы с потолка бьет прямо мне в лицо, и я окончательно просыпаюсь. В отсеке сильно пахнет выхлопными газами. Сменившиеся мааты стягивают промасленные куртки и штаны, делают несколько глотков из своих бутылок с яблочным соком и, вполголоса

болтая, забираются в койки.

– Грандиозное факельное шествие, – слышу рассказ Клейншмидта, – кофейный столик с букетом и золоченой посудой у родителей моей будущей жены. Весьма милые люди. Старику шестьдесят пять, а ей уже семьдесят. Ромовая баба и сливовый пирог. А перед этим рюмочку смородиновой, домашней – просто мечта. Невеста как раз варила на кухне кофе. Сижу я там на софе, вот так опершись руками, и тут правой рукой нащупываю в углублении между сиденьем и подушкой – что бы вы думали?

– Давай, давай, валяй дальше!

– И вот я нащупываю – как вы думаете, что?

– Слушай, ну откуда мне знать!

Это, должно быть, голос маата центропоста Изенберга.

– Хватит томить!

– Упаковку презервативов на пять штук. Три еще были целенькие. Двух не хватало. Что вы теперь на это скажете?

– Что ты быстро считаешь!

– Я хлоп упаковку на стол. Старики вытаращились как сумасшедшие. А я встал и – вон из этой мечты.

– Ну и дурак!

– Это почему? По-твоему, так мне еще не хватало с ее полюбовниками чаи гонять…

– Ну, ты уж пересаливаешь!

– Или – или! Третьего для меня не существует!

– Ну ты и тип. Откуда тебе известно, что малышка и

вправду…

– А, брось, не болтай ерунды. Не старик же их напяливал?

Я снова поворачиваюсь к фанерной переборке. Но тут люк опять с треском распахивается, и последним появляется старшина Вихман. Он задраивает люк водонепроницаемой переборки и включает полное освещение. По другим ночам мне уже известно, что последует дальше. Но проклятое любопытство заставляет, полуприкрыв глаза, наблюдать за спектаклем, который сейчас повторится.

Вихман становится перед зеркалом, висящим на водонепроницаемой переборке, и начинает строить себе рожи. Ногтем большого пальца он, откинув волосы на лицо, пару раз проводит в обе стороны по зубцам гребня. После целого ряда попыток ему удается расчесать волосы на пробор. Когда он немного отступает от зеркала, я вижу, что его лицо светится просветленным благоговением. Теперь наступает момент, когда Вихман начинает разглядывать себя, наклоняя голову вправо и влево. Наконец он направляется к своему шкафчику, где некоторое время копается, пока снова не возникает у зеркала, теперь уже с банкой бриолина, тщательно намазывает между зубцами гребенки, потом чешет и чешет волосы, пока не добивается абсолютно гладкой поверхности, в которой отражаются лампы.

Наконец он убирает свои причиндалы, снимает куртку, стаскивает, не расшнуровывая, полуботинки и валится на койку. Свет он просто оставляет гореть.

Минут пять спустя я сползаю вниз, чтоб добраться до выключателя. При этом бросаю взгляд на койку старшины: все его великолепие пошло прахом.

Пятница. 14-е сутки в море. Встречаю Старика в центропосту. Он оживлен, явно не прочь поговорить. На этот раз начинаю я, спрашивая его, чем он объясняет то, что, несмотря на большие потери, так много людей добровольно идет в подводный флот.

Несколько минут обычных размышлений. Потом с заминкой:

– Да уж, дети есть дети. Конечно же их манит ореол вокруг подводного флота. Ведь мы избранные из избранных: добровольческий корпус Дёница. Пропаганда тоже несомненно делает свое…

Долгая пауза. Старик вперил взгляд в палубные плиты. Наконец возобновляет разговор:

– Вероятно, они себе даже не представляют, что их ждет. Ведь все они еще крайне наивны – три года учебы, потом призыв и обычная подготовка. Они еще ничего не видели, ничего не пережили, не имеют ни малейшего представления.

На его лице подобие ухмылки, когда он вполоборота поворачивается ко мне.

– С пулеметом на загорбке шлепать по пересеченной местности – даже для меня не очень возвышенное зрелище. В любом случае это не мое. А вы хотели бы в сапогах топать по

грязи? Все же здесь, видит Бог, лучше. Мы плывем. Нам не нужно вышагивать под полной выкладкой и сбивать в кровь ноги. Нас регулярно кормят, в большинстве случаев даже горячей пищей. Где еще такое встретишь? Кроме того, у нас нормальные постели. Здесь даже тепло. И всегда свежий, животворный морской воздух… И наконец, на берегу броские, нарядные парадные мундиры и красивые ордена; таким образом, если вы меня спросите, то тут матросам, без сомнения, лучше, нежели в обычных войсках и в учебных экипажах! Ведь все относительно!

При словах «учебный экипаж» у меня перед глазами встает отработка «индивидуального прохождения строевым шагом с отданием чести». Командир взвода орет во всю глотку. Каждый вопль он сопровождает раскачиванием на носках: «Резче тяните вверх ваш чертов носок! Я вам создам уют, вы у меня умоетесь кровавой мочой!»

Когда горлопан изъяснялся высоким штилем, то свои бранные метафоры ему удавалось возвышать даже до сюрреализма: «Вот я сейчас раздеру ваши задницы до самых ушей и чуть-чуть выше, чтобы вы глядели через собственную жопу!»

В тесном помещении восемнадцать парней наперебой оглушительно издают трубные звуки, ведь кормят-то всех капустой! Просто чудеса, что переполненную газами каморку не срывает с основания и не уносит в небо.

А раньше в «Трудовой повинности»… Августа Ритте-

ра фон Кара-века, назначенного нам обер-фельдмейстером, прозвали Дьяволом, после того как его раз за разом в наказание переводили по службе. «У настоящего командира отличить подразделение от местности можно лишь по сверканию белков глаз» – вот был его принцип. Захождениями плечом вперед по заболоченному лугу и прохождением церемониальным маршем ему требовалось не более пяти минут, чтобы нас все больше и больше окатывало ледяной грязью, уже без раскисших сапог на ногах, которые засасывало в жижу. Два часа спустя безумец проводил проверку наших тумбочек и у каждого находил недостатки. Это означало: все пожитки выкидывались на середину казармы, после чего двадцать человек должны были выуживать свои вещи из кучи. Затем – в «наказание» – захождения на косогоре. Это еще хуже, чем на заболоченном лугу, потому что у фланговых при подъеме на холм сердце билось уже где-то в горле. А дьявол обер-фельдмейстер следил за тем, чтобы каждый побывал на фланге…

Циничная ухмылка исчезает с лица Старика, когда он вновь берет нить разговора в свои руки.

– Видимо, здесь только и можно плавать что с детьми, которые, так сказать, еще не вылупились. Любовь кажется еще не самым главным в жизни, еще не появилось никаких привязанностей. Если у кого и сдают нервы, то почти всегда причина – старший по званию. Люди, у которых дома жены и дети! Забавно: однажды мы подбирали людей с затонувшего эсминца – нашего эсминца. Должно быть, после гибе-

ли прошло не более двух часов, когда мы подошли. То есть достаточно скоро. Дело было летом, вода еще не слишком холодная. Но оказалось, что большинство молодых моряков уже захлебнулись в своих спасательных жилетах. Они просто сдались, просто сунули голову под воду, хотя волнение моря было от среднего до умеренного. Боролись за жизнь только те, кто постарше. При этом один из них – уже сорока лет и тяжело раненный, но мужчина – выстоял, несмотря на большую потерю крови. А вот восемнадцатилетние, кто был в полном здравии, те – нет. – Старик пару минут помолчал, словно пытаясь подытожить, потом добавил: – У более взрослых легче сдают нервы, молодые же легче сдаются.

В этот момент появляется стармех. Он бросает на меня быстрый изумленный взгляд.

– Собственно говоря, здесь можно обойтись гораздо меньшим количеством людей. Я представляю себе подлодку, которая управляется всего двумя-тремя моряками. Совсем как в самолете. В сущности, у нас на борту так много людей оттого, что конструкторы не способны блестяще разрешить стоящие перед ними задачи. Большинство людей здесь просто затычки. Они заполняют пробелы, которые инженеры допустили в конструкции подлодки. Люди, кто крутит какие-нибудь маховики или переключает рычаги, собственно, вообще не являются военными. Я уже больше не могу слышать, как главное командование рекламным слоганом заманивает людей: «Атакуешь – торпедируешь – погружаешься!» Все это

только создает ложные представления. Кто же здесь атакует? Только и исключительно – командир. Матросы врага никогда и в глаза не видят.

Старик делает паузу. Мне сегодня не следует встревать. Он нынче разоткровенничался сам.

– Ужасно жаль, что старый Дёниц доверился пустозвонам. Ведь когда-то мы полностью полагались на него, – говорит он вполголоса.

Мне давно уже известно, что у него болит: его отношение к своему командующему со времени его последнего доклада ухудшилось.

– Прежде мы его считали кем-то вроде военно-морского Мольтке, но теперь: «Один за всех, все за одного», «Один народ, один рейх, один фюрер», «Фюрер смотрит на вас», «Фюрер, фюрер, фюрер»… Слушать это невозможно – все время одна и та же пластинка. «Германская женщина, благороднейшее существо» – вот еще чем он потчует. И снова: «Всякий раз, возвращаясь от фюрера, я ощущаю свое убожество». Потрясающе сильный мужчина.

Старик говорил с горечью. Произнеся в сторону: «Тьфу, пропади оно все пропадом», пытается смягчить свою злость.

Стармех тупо глядит перед собой, делая вид, будто ничего не слышит.

– Ха, морячки-добровольцы! – Старик возвращается к отправной теме. – Фронтовое товарищество, сплоченность всех людей на борту, «зависимость друг от друга» – это ведь

не пустая фраза. Это привлекает людей. А в первую очередь сознание именно того, что принадлежишь к элите. Стоит лишь понаблюдать за парнями в отпуске. Они надуваются как индюки, выпячивая грудь с боевыми наградами на форменках. Похоже, на дам это тоже действует…

Судовая трансляция щелкает. И затем: «Второй вахте приготовиться!» На этот раз команда касается и меня. У меня вахта дизелиста: отделение выхлопных клапанов и дизелей.

Стармех закладывает мне уши ватой:

– Шесть часов грохота дизелей – несколько многовато!

Двигатели настолько сильно подсасывают люк дизельного отсека, что приходится прикладывать всю свою силу, чтобы отдраить его. Тотчас меня ударяет грохот машин. Истерический треск клапанов и коромысел – сопровождение глухими ударами взрывов горючего в цилиндрах и низкого шипящего гудения, как я полагаю, производимого компрессором. При этом на среднем ходу работает только дизель правого борта. Дизель левого борта заглушен. Значит, назойливое гудение вызвано не компрессором (поскольку он необходим лишь при усиленном нагнетании воздуха, когда двигатели работают на полный ход).

Дизеля почти упираются в округлый подволок. Сочленения клапанных рычагов и штоков толкателя клапана дизеля правого борта работают в жестком ритме. Их биение вызывает вибрацию.

Вахту несет старший моторист Иоганн. Пока что он не беспокоит меня. Иоганн следит за показаниями оборотов: стрелка сильно вибрирует. Иногда она резко подскакивает на несколько делений шкалы и нервически дрожит, поскольку наши винты в бушующем море встречают разное сопротивление. И без тахометра здесь, на корме, я нагляднее, чем в центральном посту, ощущаю, как море задерживает лодку, снова отпускает ее и сразу вслед за этим опять осаживает ее. Сначала винты работают натужно, но как только подлодка выскакивает, начинают бешено вращаться.

Теперь Иоганн по очереди проверяет давление масла и охлаждающей воды, затем пытливым взглядом диагноста ощупывает маслопровод, который проходит под масляным насосом, проверяя его температуру. Наконец он поднимается на серебристую подножку, сбоку у дизеля, и ощупывает взад-вперед снующие сочленения клапанных рычагов: все очень медленными, точно выверенными движениями.

Крича, Иоганн поясняет мне, что надо делать: следить за тем, чтоб ничего не перегревалось, постоянно ощупывать трубопроводы водяного охлаждения и следить за коромыслами клапанов, как показал он только что. И когда он подаст знак, очищать заглушки выхлопных патрубков. Ведь я достаточно часто наблюдал, как это делается.

Иоганн возвращается в пост управления, вытирает руки ветошью, вынимает из ящика рядом со своей небольшой конторкой бутылку сока и, запрокинув голову, делает пару

внушительных глотков.

С щелкающих шарниров стекает масло. Я ощупываю их один за другим, при этом рука ощущает их упругие толчки. Все шарниры одинаково теплые. Без сбоя следуют друг за другом детонации в цилиндрах. Я повторяю про себя: всасывание, рабочий ход и выхлоп.

Четверть часа спустя Иоганн открывает люк на камбуз и поворачивает маховик на подволоке. При этом он кричит мне, поясняя:

– Я перекрываю… дизельный приемный клапан… теперь дизель станет засасывать воздух из лодки… отлично проветрим!

Часом спустя старший моторист выходит из-за своего пульта и идет в проход между обоими двигателями. На стороне работающего двигателя он один за другим открывает индикаторные краны. Из каждого вырывается струя пламени. Иоганн удовлетворенно кивает: зажигание есть во всех цилиндрах, то есть все в порядке. Никаких отклонений. Забавно, думаю я, курить в подлодке запрещено, а вот это огнеметное представление разрешается.

Балансируя словно канатоходец, Иоганн возвращается к своему пульту управления, по пути стирает пару пятен с матовых поверхностей двигателя и снова протирает руки пучком ветоши. Ветошь плотно набита в щель между трубами. Некоторое время спустя он проводит по ней и открывает вентиль напорной воды для подачи топлива. Потом броса-

ет взгляд на электрические термометры, показывающие температуру всех цилиндров и выхлопных газов. Огрызком карандаша, что едва виден в его пальцах, он заполняет журнал машинного отделения: расход топлива, данные температуры, колебания давления.

Сменившийся с вахты рулевой с охапкой мокрой, напитавшейся влагой одежды подходит к переборке, протискивается мимо меня и, хватаясь за поручни дизелей, пробирается дальше в корму в отсек электродвигателей, где развешивает мокрую одежду для просушки на трубу кормового торпедного аппарата.

Дизелист-маат присаживается на противоположной от пульта правого двигателя стороне на низенький ящик для инструментов и погружается в чтение засаленной, растрепанной книжки. Его дизель отключен, так что делать ему нечего. Но он обязан находиться на посту, поскольку в любой момент может поступить команда запустить дизель.

Балансируя, я все время расхаживаю взад-вперед по блестящей железной площадке вдоль правого двигателя. Манометры показывают нормальное давление.

Старший моторист делает мне знак: нужно пролезть через переборку в отделение электродвигателей. Непосредственно на переборке в распределительных коробках висят коричневые спасательные жилеты. Они наводят меня на грустные размышления: центральный пост и ходовой мостик находятся слишком далеко. Долгий путь к спасению через рубочный

люк. Здесь неподходящий пост для людей с богатым воображением. Кто-то, может, и скажет, что ему наплевать, близко или далеко бежать до рубочного люка, если подлодку раздавит на глубине. Однако осознание того, что ты заперт в самой корме, бьет по нервам.

Кроме того, лодка может быть потоплена и в надводном положении, тараном например, – ведь всем известно, что и в таких случаях не бывает спасшихся из машинных отсеков, в лучшем случае – вахтенные на мостике да народ из центропоста.

Пронзительный звук ревуна перекрывает рев дизеля. Вспыхивает красная лампа. Моментально страх сковывает мои конечности. Дизелист-маат вскакивает. Что случилось? Иоганн подает рукой успокаивающий знак. И только тут до меня доходит: запуск дизеля левого борта. У меня появляется дело, я должен открыть выхлопные заглушки левого дизеля. Дизелист переключает двигатель на гребной винт. Вот сжатый воздух с шипением пошел в цилиндры. Старший моторист уже открыл топливный рычаг. Клапана клацают – и вот раздается первый взрыв. Толкатели клапанов приходят в движение: дизель левого борта очнулся от своей спячки. Воспламенение во всех цилиндрах, и вскоре рев левого дизеля сливается с гудением правого.

Снова какое-то время делать нечего. Манометры показывают, что двигатели обеспечены всем, в чем они нуждаются: топливом, воздухом и водой для охлаждения.

С начала вахты прошло три часа: половина вахты.

С момента запуска левого дизеля воздух в отсеке быстро нагревается и становится тяжелым и затхлым.

В десять часов кок приносит кувшин с лимонным соком. Я жадно пью прямо через край.

Иоганн большим пальцем резко указывает на подволок: пора чистить выхлопные заглушки. Эти заглушки не должны закоксовываться. Они задраивают выхлопные патрубки в подводном плавании. Заглушки должны быть абсолютно герметичными, чтобы ни капли забортной воды не проникало в машины. Но во время надводного плавания на них откладываются остатки несгоревшего топлива, которые могут воспрепятствовать герметичному задраиванию. В начале войны подлодки нередко гибли, по сути, оттого, что выхлопные заглушки не задраивались герметически из-за подобных отложений и в лодку устремлялась забортная вода. Чтобы избежать подобной опасности, нам приходится «шлифовать» выхлопные заглушки каждые четыре часа.

Вновь замигала красная лампочка. Машинный телеграф перескакивает на средний ход. Старший моторист поднимает наверх топливный рычаг. Теперь подача топлива на впрыск в цилиндры уменьшается, падают обороты дизеля правого борта, рев становится неровным. Затем Иоганн переводит топливный рычаг на ноль, и дизель останавливается. Знаком Иоганн дает мне понять, что теперь можно задраить внешнюю выхлопную заглушку с помощью большого махо-

вика на подволоке. Я берусь за трещотку и со всей силой начинаю вращать взад-вперед тарелку выхлопной заглушки в корпусе ее гнезда, чтобы удалить нагар. Все время взад-вперед, пока Иоганн не позволяет мне остановиться.

Потный насквозь, тяжело дыша, я стою, когда дизель правого борта снова запускают. Вскоре после этого заглушают левый дизель, и начинается та же процедура с заглушками левого двигателя. У меня уже нет сил, и я с крайним напряжением налегаю на трещотку. Пот струится по моему лицу ручьями.

Оба дизеля проработали совсем немного, когда лицо старшего моториста приобретает напряженное выражение. Замерев, он вслушивается в пульсирующий ритм двигателей. Иоганн берет фонарик и гаечный ключ, протискивается мимо меня. Рядом с кормовой переборкой он поднимает плиту, светит вниз и знаком подзывает меня. Там внизу еще более дикое переплетение трубопроводов, фильтров, вентилей и кранов, нежели поверх палубных плит. Это все системы охлаждения воды, смазки и подачи топлива.

Теперь и я вижу: из одного трубопровода бьет тонкая струйка. Иоганн бросает мне многозначительный взгляд, затем протискивается между трубопроводами, изгибается, словно акробат, и практически ключом достает до поврежденного места. Проходит время, прежде чем он подает наверх болты и гайки. Он снял с трубы уплотнительную манжету. Я не разбираю, что он кричит мне. Ему приходится высу-

нуть голову из переплетения трубопроводов, чтобы я понял. Дизелист-маат должен вырезать новую манжету. Внезапно оказывается дел по горло. Устранение неполадки непростое. На спине Иоганна расплывается темное пятно пота. Наконец Иоганн, перепачканный маслом, снова выныривает из лабиринта труб и подмигивает: теперь в порядке. Вот только как он почувствовал дефект? Должно быть, у Иоганна шестое чувство, если дело касается его двигателя.

Без пяти двенадцать приходит новая вахта. Еще глоток яблочного сока, вытереть руки ветошью, а теперь вон из этой берлоги и в центральный пост, сделать пару глотков свежего воздуха.

В унтер-офицерском отсеке в своих койках вполголоса болтают Вихман и Клейншмидт, но, как всегда, достаточно громко, чтобы я мог разобрать каждое их слово.

– Иногда я задаю себе вопрос: как бабам удается все время терпеть без траханья?

Вихман обручен. Соблазны, которым может поддаться его невеста, явно беспокоят его.

Клейншмидт знает, где у Вихмана слабое место. Вместо того чтобы проявить такт, он просто раздражается:

– Отстань ты со своими бабами. Стоит сказать: «Будьте добры», как она уже на спине и раздвинула ноги. Парень, я мог бы каждый день валять по дюжине!

– Брось ты заливать! – вот все, что способен выдавить

Вихман.

– Почему? Не веришь? Не бойся: твоя дорогая мышка всегда держит свое гнездышко на запоре. Ведь она приличная дама.

Внезапно внизу начинается такая беготня, что Клейншмидт умолкает. Когда суматоха улеглась, он спрашивает:

– На чем мы остановились?

– Ах, да поцелуй ты меня в задницу! – получает он совет Вихмана, и чудо свершается: Клейншмидт обиженно умолкает.

15-е сутки в море. Две недели в походе. Волна сегодня короткая. Хаотичные валы натыкаются друг на друга. Лодка беспорядочно скачет вверх-вниз, без всякого равномерного ритма. Мертвая зыбь, вздымающаяся и опадающая на больших промежутках под толчеёй поверхности, еще больше разнообразит движения лодки.

Многие дни мы не видели ничего, кроме бочек, пары ящиков и однажды – сотни бутылочных пробок: картина, которая не вдохновила командира на поэзию:

– К сожалению, они не свидетельство разнузданной оргии, только пробки и ни одной бутылки – идиотская картина!

Я несу вахту со старшим штурманом. Что же, хотя бы тренировка для бицепсов. От постоянного держания на весу тяжелого бинокля чувствую все мышцы – от плеча до лопатки. Сейчас мне приходится опускать бинокль чаще, чем в первые часы вахты. Старший штурман может часами не отни-

мать бинокля, словно руки у него сконструированы под углом.

– У нас прямо-таки двойная жизнь, – неожиданно начинает старший штурман.

Я не понимаю, куда он клонит. Старшего штурмана не назовешь словоохотливым. Поэтому его слова из-под ладоней в кожаных перчатках падают через промежутки времени.

– Так сказать, половина проходит здесь, на подлодке, половина на берегу. – Старший штурман хотел бы продолжить, но ему явно недостает слов.

Мы оба отдаемся наблюдению за нашими секторами.

– Так оно и есть, – наконец вновь продолжает старший штурман, – здесь мы полностью предоставлены самим себе – ни тебе писем, ни телефона, ничего. Но, несмотря ни на что, каким-то образом у нас сохраняется связь с домом.

– Вот как?

– Например, кто-то не находит себе места. Постоянно думает: как там дома? А дома: они ведь не знают, где мы, собственно говоря, шляемся.

Снова пауза. Затем старший штурман говорит:

– Когда мы выходим в море, – и фраза надолго повисает, – мы наполовину пропавшие без вести. Если с какой-либо лодкой действительно что-то случается, проходят месяцы, прежде чем ее заносят в список потерь.

Старший штурман погружается в молчание. И внезапно начинает:

– Если человек женат, от него остается ровно половина. – Он произносит это как тезис, не подлежащий сомнению.

Тут меня осеняет. Ведь он говорит о себе самом. Но я делаю вид, будто не заметил, на что он намекает своими туманными речами.

– Не знаю, Крихбаум, действительно такое ли уж значение имеют обручальные кольца… Стармех давно женат?

– Всего лишь полгода. Такая воображала блондинка с кудельками!

Теперь он говорит не запинаясь, легко, поскольку речь больше не идет о его собственных проблемах:

– Она поставила ему ультиматум: «я не собираюсь губить свою жизнь» и тому подобное. При этом по ней не скажешь, что она сидит затворницей, пока мы здесь болтаемся. Красивая дрянь для стармеха. Беременная, пока еще не родила. – Когда Крихбаум после длительной паузы снова начинает говорить, он опять запинается, как и вначале. Видимо, снова о себе. – Хочешь не хочешь, все равно приходится тащить за собой груз – лучше было бы ни о чем не думать!

– Это говорил уже как-то один человек и в соответствии с этим сжег за собой корабли, – бормочу я из-под бинокля; совсем не обязательно, чтобы оба кормовых сигнальщика слышали нас.

– Сжег корабли? Кто это сжег корабли?

– Его звали Агафокл, Агафокл из Сиракуз. Он когда-то поплыл в Африку, чтобы сразиться с карфагенянами.

– Ну и?..

– История довольно запутанная. Дело в том, что карфагеняне осадили его город.

– Полагаю, этот тип собирался разбить их в Африке?

– Совершенно верно, однако флот карфагенян был уже под Сиракузами!

– Понятно! – кивает старший штурман.

– Агафокл прорвался сквозь осаждающие корабли и добрался до Африки. Тут они высадились. И тогда Агафокл приказал сжечь вытащенные на берег суда, чтобы не оставить никакой возможности для бегства.

– Довольно круто, – отмечает старший штурман.

Мы вновь занялись изучением горизонта. Сантиметр за сантиметром я ощупываю биноклем горизонт. Затем даю отдохнуть глазам, вкруговую оглядывая море и небосвод без бинокля. Я смаргиваю и опять приставляю бинокль к глазам. Все время одно и то же: осматриваю линию горизонта, затем отнимаю бинокль, круговой обзор и вновь бинокль к глазам.

Перед лодкой, два румба по левому борту, скопление тумана – клубок грязной серо-зеленой ваты – прямо над линией горизонта. Старший штурман постоянно наводит на него свой бинокль: клубы тумана вызывают особое подозрение.

Проходит добрых десять минут, прежде чем старший штурман возобновляет разговор:

– Возможно, единственно верно: выкинуть из головы весь посторонний шахер-махер!

Какое-то время в моей голове крутится: он сказал «шахер-махер» – это не по-еврейски ли? Шахер-махер, шурум-бурум – тут и впрямь свихнешься, так перенапрягая свои гляделки.

Я стал думать о фенрихе Ульмане. У него тоже свои заботы. Ульман – бреславлец. Курносый и веснушчатый, он выглядит четырнадцатилетним подростком. Несколько лукавое выражение добавляет его облику мальчишеские черты. На базе я однажды встретил его в синей выходной форме. Голова Ульмана скрывалась под слишком большой для него фуражкой, и он выглядел презабавно – как конфирмант, которому купили одежду на вырост.

Фенрих пользуется всеобщей любовью. Он выносливый парень. Собственно говоря, фенрих к тому же не такой уж хрупкий, а даже плотный, и при ближайшем рассмотрении выглядит старше, чем на первый взгляд: морщины залегли на его лице не только от смеха.

Как-то, когда я оказался с фенрихом один в унтер-офицерском помещении, он повел себя странно. Бесцельно хватался за стоявшую на баке посуду, двигал ее взад-вперед, клал нож параллельно вилке и пару раз поднял глаза, чтобы встретить мой взгляд.

Я понял, что он хотел мне что-то сказать.

– Знаете цветочный магазин рядом с кафе «Пьеро»?

– Конечно, и обеих продавщиц. Миленькая Жаннет, а как зовут вторую?

– Франсуаза, – сказал фенрих, – дело в том, что я с ней обручен, тайно, разумеется!

– Ай… яй! – от удивления только и выдавил я: наш маленький фенрих с забавным ежиком на голове, в мешковатой форме – и уже обручен с француженкой.

– Милая девушка, – произнес я, помолчав.

Фенрих пересел на свою койку, положил ладони на бедра и посмотрел беспомощно и так, словно это признание его совершенно обессилило.

Постепенно я узнавал все больше: оказывается, девушка беременна. Фенрих не столь наивен, чтоб не понимать, что означает для девушки родить ребенка. Мы враги. С коллаборационистами часто разговор короткий. Фенрих знает, насколько активны маки. Девушка, как я у него выяснил, понимает все это еще лучше.

– Она тоже не желает вынашивать ребенка! – сказал фенрих, но столь нерешительно, что я заметил:

– И что?

– Ничего, если мы вернемся!

Тут я вспомнил одну сцену при нашем выходе из бункера. Когда командир делал круговой обзор бассейна гавани, то проворчал мне: «Это не вам?» – и кивнул в направлении пустующего дома справа от шлюза. В одном из оконных проемов на втором этаже я увидел машущую рукой девушку.

«Не имею представления! – ответил я Старику и спросил: – Разве там не запретная зона?»

«Конечно!»

Я спросил фенриха:

– Когда мы выходили в море, в гавани была она, как ее зовут – Франсуаза?

– Да! Я говорил ей, что нельзя.

– Но ведь там кругом часовые!

– Конечно, но она сумела. Она приехала в Сен-Назер на велосипеде.

Фенрих сказал это так, будто ссылка на велосипед все объясняла.

– Гм, – ответил я. Поразмышляв, не нашел ничего лучшего, как сказать: – Дружище Ульман, но ведь это не повод для отчаяния – все уладится. Вот увидите – все образуется.

– Да, – только и произнес фенрих.

И снова бинокль вверх! Бинокли следовало бы делать легче! Старший штурман подле меня язвит:

– Вот бы эти господа там, дома, оказались здесь – океан, кругом бескрайний океан и никаких признаков сурового врага. Можно вообразить, как они себе все это представляют: выход в море, пару дней поболтались, и вот уже появляются пароходы – целыми стадами и груженные под завязку. И тут кинжальная атака – залпы, всеми торпедными аппаратами, парочка глубинных бомб над головой, чтоб служба медом не казалась, – победные вымпелы на перископе исключительно за пузатые танкеры и, с улыбкой до ушей, швартов-

ка у пирса, духовая музыка и ордена соответственно.

Во время своей речи старший штурман ни на секунду не отрывался от сектора наблюдения. А теперь он опускает бинокль и смотрит на меня наполовину с горечью, наполовину с сарказмом. Едва приставив бинокль к глазам, развивает тему:

– Но стоило бы нас заснять: исключительно крупные планы. Ничто. Пустынный горизонт, пара облаков – и больше ничего, абсолютно ничего. А затем съемки внутри подлодки: заплесневелый хлеб, немытые шеи, гнилые лимоны, рваные рубашки, сочащиеся влагой переборки и – в первую очередь – наши тоскливые физиономии.

16-е сутки в море. У стармеха сегодня, похоже, хорошее настроение. Вероятно, оттого, что утром ему удалось выполнить особо сложный ремонт в машине. Он даже снисходит до того, чтоб насвистеть нам какую-то мелодию.

– Как в варьете! – замечает Старик.

Мне стоит только прикрыть глаза, чтобы перенестись в обстановку бара «Руаяль». Там стармех Меркель учил меня свистеть с помощью двух пальцев. Художественный свист на этой флотилии – явно специализация механиков.

Как долго еще будет стоять перед глазами эта пьяная ночь: опустошенные, равнодушные глаза музыкантов, обезумевший Труман. Я вспоминаю пари, предложенное Пнем Замшелым. Вижу Томсена, пускающего пузыри в луже мочи.

– От Трумана долго нет никаких известий, – вдруг говорит Старик, будто прочитав мои мысли. – А ведь он уже давно должен был уйти в поход!

От Трумана никаких известий. Но и от Кортмана ничего, и от Меркеля.

Мы поймали только радиосеанс, когда запрашивали у Кальмана и Земиша об их местоположении. А также радиограммы с лодок Флексига и Бехтеля, которые принял и наш радист.

– Этот месяц будет скверным, – бормочет Старик, – у других дела, похоже, не лучше, чем у нас.

До ужина нам предстоит убить час и десять минут, то есть семьдесят минут, четыре тысячи двести секунд!

Появляется радист-маат Хинрих, передает адресованную нам радиограмму. Стармех берет из рук маата ленту, достает из шкафчика дешифратор, ставит его на бак среди посуды, тщательно проверяет настройку и начинает нажимать на клавиши.

Словно ненароком появляется старший штурман и краем глаза следит за стармехом. Но на лице того лишь крайняя сосредоточенность, не позволяющая ничего прочесть по его мимике. Наконец он подмигивает старшему штурману и передает расшифрованную радиограмму командиру.

Это всего лишь запрос о нашем местоположении.

Командир вместе со старшим штурманом исчезают в центральном посту. Пройдет немного времени, и радист отсту-

чит короткое сообщение с нашими координатами.

Болтанка номер два

Как только наверху есть место, я на ходовом мостике. Оглядываюсь вокруг себя, словно на крохотном островке без всякой растительности. Ни палубные надстройки, ни мачты и реи, которых нет на подводной лодке, не загораживают вида на море и небо.

Каждый день уже с утра небо расцвечивается новыми красками. Сейчас оно зеленое, малахитово-зеленое, фисташково-зеленое. Иногда небо становится прозрачно-зеленым, словно лимонад. А потом зеленый оттенок вновь напоминает цвет пены переваренного шпината или ледяного кобальтово-зеленого, который быстро блекнет и переходит в неаполитанский желтый.

Из оттенков желтого ранними утрами небосвод нередко окрашивается в холодный бежевый. Вечернее небо насыщенно-желтое, как латунь, или же кадмиевая краска, а то и индийская желтая. Облака временами тоже покрываются желтым цветом: грязной, как сера, желтизной. Желтый ореол заходящего солнца варьируется от зеленоватого до холодного золота и переливающихся оранжевым оттенков.

Наиболее роскошно красное небо. Как по утрам, так и по вечерам целые потоки красного оттенка необычайной интенсивности могут растекаться по всей перспективе неба. Красный цвет из всех цветов самый богатый и разнообразный:

от прозрачного мерцания, нежного опалово-розового до насыщенного пурпура, от бледного лилово-алого до яркого пожарно-красного цвета. Между ними переливаются нежные перламутрово-красные, гераниевые, багряно-красные цвета. А между красным и оранжевым бесконечный спектр оттенков оранжевого.

Реже красного на небе вспыхивает фиолетовый пожар. Бледный и прозрачный фиолетовый, быстро переходящий в серый, напоминающий потертую тафту. Замутненный черным фиолетово-синий оттенок выглядит угрожающе и мрачно. Выдаются вечера с совершенно пошлым пурпурно-фиолетовым оттенком, на который отважится далеко не каждый художник.

Серое небо имеет бесчисленное количество оттенков: теплый серый, холодный серый. Они смешиваются с умброй, темной охрой, с терракотой. Серый Веласкеса, серый голубиный – наряду с таким многообразием оттенков серого существуют совершенно невыразительные оттенки: серый как бетон, стальной.

Помимо серого синий – основной цвет неба. Наиболее впечатляющий насыщенный синий цвет над бушующим морем, разливающийся среди шума и свиста ветра: кобальтовый купол без штормовых облаков. Иногда синий цвет настолько насыщен, будто растворенный в воде индиго. И совсем редкий и оттого ценный сине-зеленый оттенок.

Как и цвета неба, изменчива и цветовая гамма океана:

приглушенный в утреннем свете серый цвет моря. Черное, бутылочно-зеленое, серое, фиолетовое, белое море.

Постоянно меняющаяся структура моря вносит новые вариации: шелковая, матовая, ребристая, бархатистая, изборожденная поверхность моря. Бурного, волнующегося, кипящего моря.

Лодка все еще тащит свой груз из 14 торпед и 120 снарядов для 88-миллиметровой пушки. Только 37-миллиметровые снаряды уже не в комплекте: небольшой расход на учебные стрельбы. Из 114 тонн соляра часть уже израсходована. И провизию мы уже уменьшили на добрую часть.

Военно-морскому командованию Великой Германии мы не принесли еще никакой пользы: не причинили противнику ни малейшего вреда. Мы еще не добились чести на поле брани. Не ослабили удушающие объятия Альбиона, не добавили в лавровый венок германского подводного флота ни одной ветви и тому подобное…

Мы лишь стоим вахты, трескаем и испражняемся, дышим смрадом и сами распространяем зловоние.

Мы ни разу не сделали даже промаха. Промах хотя бы освободил место в носовом отсеке. Но все торпеды на месте, их тщательно обслуживают, превосходно смазывают и регулярно заправляют аппараты сжатым воздухом.

Когда небо хмурится, концы, которыми набиты кранцы, становятся серыми, как белье, выстиранное простым сти-

ральным мылом военного времени. Вскоре все вокруг только серое – на сером фоне. Без какой-либо разделительной линии серый цвет моря переходит в серый цвет неба. Дальше вверху, там, где должно всходить солнце, серый оттенок лишь чуточку светлее. Небо будто жидкая манная каша.

И пена на разреженных высоких волнах уже не белая. Это грязная отвратительная субстанция.

Свист ветра звучит как завывание пса, которому наступили на хвост: жалко и униженно.

Море бьет нас. Подлодка ныряет, словно детская лошадка-качалка. Постоянно вверх-вниз. Наблюдать – сплошное мучение. Я вынужден все время подстегивать сам себя, чтобы не поддаться влиянию окружающего безотрадного ландшафта и не впасть в апатию.

Серый свет, словно профильтрованный через марлю, бьет по глазам. В серой каше глазу не за что зацепиться. Водяная пыль делает серый фон еще безотраднее.

Если б хоть что-нибудь произошло! Пусть бы дизелям дали больше хода, когда они прорезают волну, вместо этой выматывающей душу тряски!

Ватная голова. Свинец во всем теле. Резь в глазах.

Смотрю, как один из торпедистов ковыряется в носу. Он делает это не походя, а основательно: сначала с каким-то удивительным вращением – вывернув тыльную сторону ладони к лицу – засовывает мизинец правой руки в правую

ноздрю так, словно собирается ее сначала несколько рассверлить, потом следует указательный палец, который старательно выковыривает засохшие за ночь сопли. То, что он выуживает на свет между подушечкой пальца и ногтем, торпедист обстоятельно исследует, без неодобрения или признака какого-либо удовлетворения на лице. Видимо, это самая банальная козявка, которую он теперь большим и указательным пальцами скатывает в зеленую колбаску – терпеливо, будто воплощая замысел, по которому он придает ей определенную форму. Я с нетерпением жду, куда он пристроит свою козявку. Но у торпедиста это не вызывает никаких сомнений: он недолго думая мажет ее на кожаные штаны и тут же принимается за очистку левой ноздри. При этом использует ту же руку. Но на этот раз следует трансформация. Теперь он катает не колбаску, а колобок, который после тщательного ваяния он большим и указательным пальцами отстреливает щелчком в крышку торпедного аппарата. В заключение он потирает ладони, словно арабский торговец после завершения удачной сделки, и позволяет появиться на лице выражению полного удовлетворения: «Ну вот, дело сделано!»

Как самый пожилой в помещении моторист отсека электродвигателей Хаген пользуется всеобщим уважением. По нему видно, что и он знает об этом. В полумраке я сначала различаю на его лице лишь глаза и нос. Кончики закручен-

ных вверх усов доходят ему почти до висков. Лоб скрыт густой челкой. Черная борода обильная и окладистая, поскольку он не бреет ее и во время пребывания на базе. За его любимое присловье Хагена на борту называют «Просто и со вкусом». За спиной Хагена уже семь боевых походов, шесть из них на другой подлодке.

– Ха! – говорит Хаген, и все сразу замолкают.

Я вытягиваю ноги, опираюсь спиной о решетку нижней койки и жду, что будет дальше.

Хаген до предела испытывает терпение, размеренными движениями тщательно вытирает ладони о волосатую грудь и наклоняет чайник. Затем невозмутимо и с наслаждением хлебает чай.

– Ну давай же, старая перечница, – наконец подгоняет его Жиголо, – не выделывайся, рассказывай, господин, твой народ слушает тебя!

– Ну и разозлился же я однажды на томми!

– «Как всегда, просто и со вкусом!» – продолжает голос с одной из коек, и Хаген театрально бросает сердитый взгляд в направлении этой койки.

– Погода была такая же свинячья, как сегодня, когда они зажали нас в клещи у Оркнейских островов. Над нами постоянно болталась целая свора сторожевиков. А у нас под килем не было необходимой глубины. Никакого шанса уйти на глубине. Весь день хлопушки над головой.

Хаген набирает полный рот чаю. Но не проглатывает его

сразу, а сначала пару раз с шумом пропускает сквозь зубы.

– Рассчитанный маневр. Джонни были такие осторожные. И наверху попросту ждали, когда мы всплывем, и тогда отваливай лесорубы назад, в Канаду!

– Оптимист! – говорит кто-то.

Хагена не собьешь.

– Во вторую ночь на свой страх и риск мы всплыли и удрали узкой тенью, как привидение. Парни, видимо, просто-напросто дрыхли. Мне до сих пор это непонятно. Тут же на следующий день мы потопили эсминец. В тумане почти наскочили на него. Пришлось торпедировать с кратчайшей дистанции!

Хаген погружается в глубокое раздумье, и Жиголо вновь выступает в роли акушерки:

– Валяй, приятель, рассказывай дальше!

– Мы застали эсминец лежащим в дрейфе! – Хаген наглядно поясняет ситуацию двумя спичками. – Вот это эсминец противника, другая спичка – наша лодка. – Теперь Хаген поворачивает спички головками друг к другу. – Я обнаружил его первым, как всегда, просто и со вкусом!

– Ну наконец-то! Вот это сказано! – снова раздается голос с койки.

Теперь Хаген закругляется. Молча на спичках он показывает атаку.

– Эсминец схлопотал через несколько секунд!

Хаген берет спичку, изображающую эсминец, и перела-

мывает пополам. Потом поднимается и в довершение топчет ее сапогом. Все должны видеть, насколько неистов его гнев.

– Бис! – вызывает Жиголо.

Малыш Беньямин утверждает, что он совершенно потрясен. Он заглядывает Хагену прямо в лицо и при этом пытается стянуть бутерброд, который приготовил себе Хаген. Однако Хаген начеку и сильно бьет его по рукам:

– Не думай, будто я такой дурачок, что не слежу за своим бутербродом!

У малыша Беньямина не заметно ни капли смущения.

– Ошибочка вышла, – извиняет он себя, – сказал ежик, слезая с одежной щетки!

Вахтенный центропоста Турбо, похоже, также хочет что-то показать. Он вырезал из рекламного иллюстрированного журнала сигару и сливу и, склеив непристойный монтаж, пускает его по рукам.

– Вот свинтус! – говорит Хаген.

В течение трех суток радист не принимает ничего, кроме радиограмм о местонахождении других подлодок. Не было ни одного сообщения о победах.

– Так безнадежно, как теперь, еще никогда не было, – говорит Старик. – Абсолютный кризис!

Море беснуется и кипит. Ветер вспенивает воду, и море становится бело-серым. Больше нигде нет ни клочка поверх-

ности привычного бутылочного цвета. Только матовые белый и серый. Когда наш нос выныривает из воды, вид у него такой, словно с обоих бортов свешиваются пряди гипсовой бахромы.

Глубоко задумавшись, за завтраком Старик даже забывает жевать. Лишь когда появляется вестовой, чтобы убрать со стола, словно бы неожиданно чего-то испугавшись, капитан приходит в себя, пару минут торопливо двигает челюстями и сразу же мыслями снова уносится далеко.

Старик безразлично отодвигает тарелку и наконец приходит в себя. Он одаряет нас осмысленным взглядом и открывает рот, словно собираясь что-то сказать, но не произносит ни слова. В конце концов он выходит из положения, отдав пару служебных распоряжений:

– В девять часов учебное погружение! В десять – занятия с фенрихами. Прежний курс до полудня.

Одно и то же.

Не в последнюю очередь настроение Старику портит первый вахтенный. Его часто слегка критичная, даже пренебрежительная позиция действует Старику на нервы. Своим педантизмом он нарушает общее течение жизни и мешает другим исполнять служебные обязанности – точно так же, как шофер, который, слепо выполняя все правила, может вызвать хаос на дороге. Но в первую очередь это почти нескрываемые политические убеждения, которые раздражают Старика.

– Он действительно ненавидит томми, – сказал он вчера вслед первому вахтенному, когда тот заступал на вахту. – Хорошо выдрессирован. Ну что же, он хотя бы откровенен.

Я многое бы отдал за то, чтобы погулять полчасика, а лучше – побегать по лесу. Мои икры атрофировались. Ведь мое существование состоит из лежания, стояния, сидения. Мне сейчас пошла бы на пользу физическая работа, например рубить деревья. При мысли об этом запах хвои ударяет мне в нос. Я вижу медно-красные стволы срубленных сосен, блокгауз, построенный нами, слышу шум камыша, вижу, как охочусь на ондатр. Боже мой!

Радист принял радиограмму. Мы старательно изображаем безразличие, однако каждый ждет приказа, что положит конец нашей бестолковой болтанке. Командир, пренебрежительно взглянув на дешифровальную машину, беззвучно шевеля губами, читает листок и исчезает в водонепроницаемой переборке не произнеся ни слова.

Мы многозначительно переглядываемся.

Снедаемый любопытством, тащусь в центральный пост. Командир склонился над морской картой. Пока что тщетно жду, что мне раскроют содержание радиограммы. В левой руке командир держит радиограмму, а правой измеряет циркулем по карте.

– Может выгореть! Дело не такое уж безнадежное! – слышу его бормотание.

Первый вахтенный больше не в силах выдержать неиз-

вестности и просит листок с радиограммой. В ней сообщается: «Конвой квадрат XY. Противолодочный курс 60°, ход 8 узлов. UM». Взглянув на карту, я понимаю, что квадрат XY в пределах нашей досягаемости.

Старший штурман откашливается и с безразличной миной на физиономии спрашивает командира, каким будет новый курс. Он делает вид, будто радиограмма принесла сообщение не важнее, чем новый курс розничных цен на картошку.

Но и командир не выдает своих эмоций.

– Отставить! – вот все, что он произносит.

Пока что ничего не происходит. Стармех цыкает больным зубом. Старший штурман рассматривает ногти, пока командир откладывает по карте угол и измеряет циркулем расстояние: крейсерская задача.

Старший штурман при этом глядит из-за его плеча. Я достаю из ящика пару сушеных слив и прилежно гоняю косточки во рту, стараясь полностью обгрызть мякоть. Для косточек вахтенный центрального поста приспособил банку из-под молока, повесив ее на деревянную опалубку.

UM – позывной подлодки Мартена, который раньше был у Старика первым вахтенным офицером, а теперь служит в шестой флотилии в Бресте.

Из новых радиограмм узнаем, что приказ на охоту за караваном получили три лодки, затем четыре, под конец даже пять.

При этом нас нет.

– Сейчас туда должно идти все, что плавает! – комментирует Старик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.